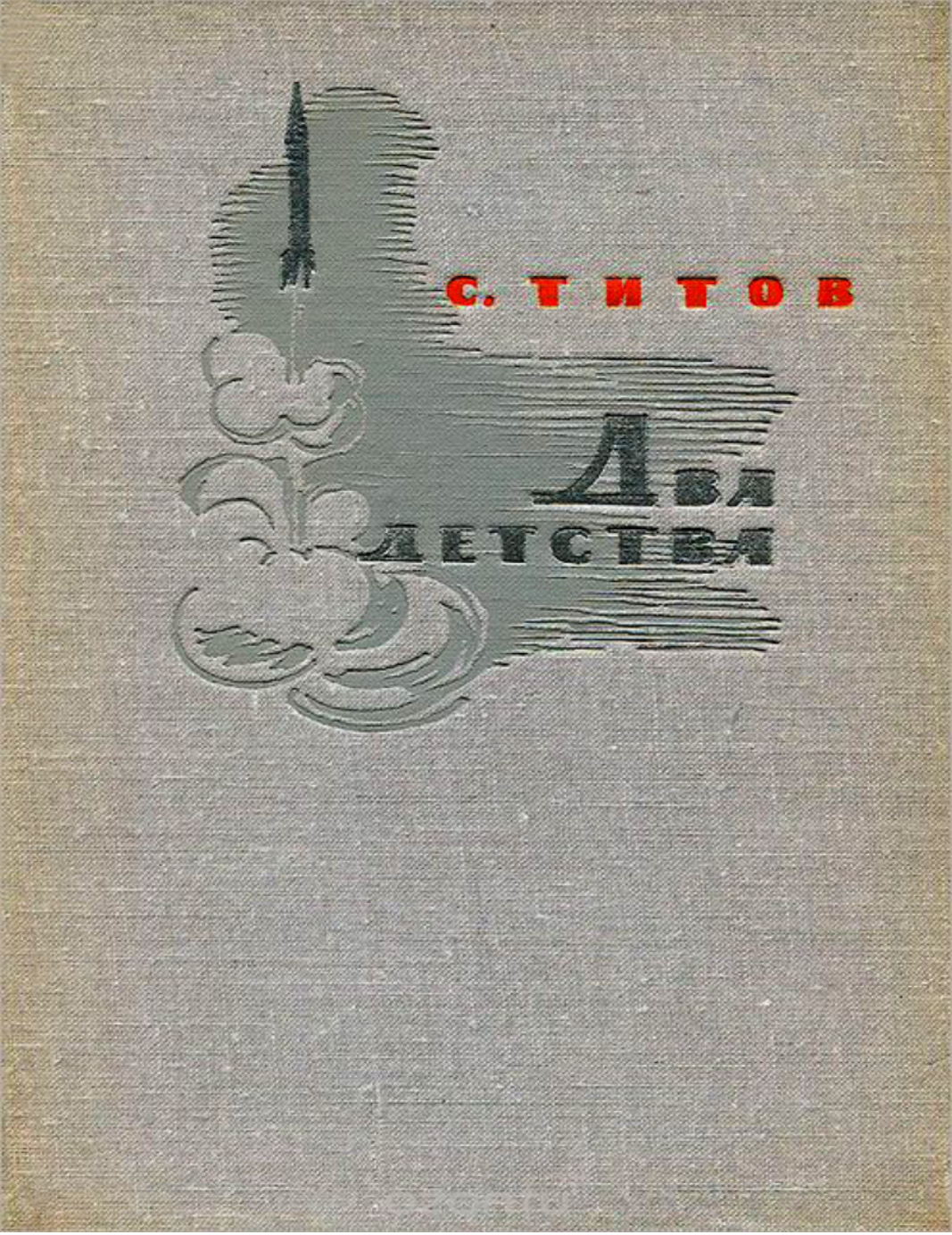

С. ТИТОВ
Два детства

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Степан Павлович Титов, не будучи писателем-профессионалом, вложил в свою книгу «Два детства» большие раздумья и переживания.

Воспоминания автора биографичны.

Лирично, проникновенно, с большим привлечением фольклорного материала, рассказывает он о своем детстве, оттого что ближе оно пережито и уже давно сложилось в повесть.

Особенно интересны главы, посвященные возникновению коммуны «Майское утро».

Прекрасная мечта сибирских мужиков-коммунаров о радостном завтра, как эстафета, передается молодому поколению, к которому принадлежал Степан Павлович Титов. В боях с фашистами это поколение отстояло завоевание революции, бережно сохранив мечту о светлом будущем — коммунизме.

Без отцовской пристрастности, с большой внутренней требовательностью и чутким вниманием написаны страницы, рассказывающие о детстве сына — Германа.

Взыскательность отца-друга, отца-учителя понятна — ведь этому поколению претворять в жизнь то, о чем мечтали их отцы и деды.

- Степан Павлович Титов
  - Первое сознание
  - Без отца
  - Отец вызывает в коммуну
  - Беспокойный человек
  - Коммунары
  - Трудовые тропы
  - Про музыку
  - В Москву за песнями
  - Вот ты какая, музыка!
  - Сын над Землей
  - Иллюстрации
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50

С. ТИТОВ

Два детства

Москва
1965

Издательство
СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ

Степан Павлович Титов
ДВА ДЕТСТВА

Памяти коммунаров коммуны «Майское утро»

Первое сознание

Я начал помнить себя, когда в деревню пришло горе: завязалась война с Германией. Наполнились тревогой улочки деревни Журавлихи, заплакали в избах. Люди вглядывались при встречах друг в друга, недобрая весть обсуждалась у плетня, у ворот на чурбаках.

С горем трудно оставаться одному. Хочется посмотреть-

приметить, как крепится человек на миру, найти себе облегчение в сочувственном слове или общем вздохе.

Война… постыла ты сердцу народному! Какими ставнями и запорами закрыть от тебя окна и двери, какими отворотными ветрами повернуть твою черную тучу от засеянного поля?

Перед тем как покинуть родное село, где детство человека пропечатало следами деревенскую улицу, пойдет молодой крестьянин на свою пашню, чтоб поглядеть в последний раз клочок земли, где он положил зерна. И кивнут ему перелески знакомые, прошумит трава поколенная, загрустит березовый околок, сгорбится распаханный пригорок.

Под каким небом, по какой земле прошагает он с винтовкой в руках, которые привыкли сеять зерна, а не разрушать созданное человеком?

Не уснет и молодой рекрут в последнюю ночь. Он уйдет на край села, где угадываются предрассветные росные дали, где прикорнул теплый сумрак летней ночи в примолкших хлебных полосах, сторожащих короткую дремоту проселочной дороги.

За темными избами почувствует он горячую девичью щеку, дрогнут мягко ресницы на губах, и приспустит над ними темный купол придорожная ветла… Мало слов скажется. Будет только музыка ночи да два человека, которые начнут мыкать свое первое несчастье. Упадут на стынущую тропинку оторванные от сердца слова:

Некрута-некрутики
Ломали в поле прутики,
По порядку ставили,
А нас страдать заставили.

Когда из-за синеющей дали леса утро прольет на деревню чистый свет, — они расстанутся, не покажут людям своей любви.

Припадет туман к реке, сникнет в заворотах омутов, и раскроется светлый купол дня.

Стекаются ручейками люди, копятся в ограде, сдержанно говорят у крыльца избы, а в избе тихо: присели перед дальней дорогой. Вот и заплакали: это солдат сделал первый шаг в далекий путь. Женщины затеребили концы платков, прижали к глазам. Трудно спускаться с родного крыльца, но поможет гармошка, — она впереди и поет.

Зачем ты тут, голосистая сельская певунья? Кстати ли твой веселый голосок? Ты пойди пройдись в тихие деревенские сумерки за речку Журавлиху, рассыпь-размечи серебряные бубенчики переборов, и пусть утро молодое развесит их на

прибрежном лозняке густым бисером росы. Но настойчиво твердят сиповатые басы: «Кстати, кстати». С песней легче горе на сердце носится, под веселую песню и слезы крупней.

Общее горе объединяет людей. Вот и полна улица. Идут медленно, и солдату трудно отнять ногу от земли.

Тяжело, с придавом движется серединой улицы сугробящаяся группа еще могутных стариков. На слежавшихся пиджаках подрагивают былые солдатские награды, как выцветшие бантики, на седых и пепельных головах присели картузы. Старики говорят — думают, слова с бород валятся в прогретую пыль дороги:

— Петру взяли…

— Микита ушел…

— Апросинья-то с кем осталась! Все малешеньки да голешеньки.

— У Пашки-то Титова, надо быть, под лавкой тоже остался?

— Как, поди, не остаться. Анна, хоть и прыткая бабенка, а без мужика, — что толковать…

— Без мужика баба — изба без крыши: дожжу всегда нальет.

— Оно так: примужняя баба — трава припенная: не истопчут.

Меня несет кто-то на руках, большой и теплый. Впереди идет высокий человек, рядом с ним, меньше ростом, — женщина. Ее голова туго стянута расшитой цветной шамшурой, сверху наброшен полушалок. Это моя мать, а высокий человек — отец, которого сегодня куда-то провожают. Через голову матери вижу телегу с запряженной белой-белой лошадью. Она привлекает мое внимание, но смотреть мешает чья-то борода. Борода поворачивается, щекочет под носом. Я чихаю и слышу, как в ней кто-то говорит со шмелиным перегудом: «Христос с нами», и шершавый палец утирает мой нос. Это неприятно, а палец ездит взад и вперед. Отворачиваюсь, упираю подбородок в мягкое, пахнущее незнакомым духом плечо, смотрю на пустую улицу. Над ней высоко горит солнце, куры выходят из-под ворот, из переулка выскакивает собачонка, смотрит, подрагивает ушами.

Сельская площадь. По бокам пупырьки густой крапивы. Много народу. Кто-то громко говорит. У сухой березы парень, в розовой рубахе без пояса, плачет и поет, сидя на земле. Женщина поднимает парня, отряхивая пыль с его плисовых шаровар. Рядом лежит гармошка, зарывшись белыми пальчиками клавишей в дорожную пыль, раскрыв острые ребра-мехи. Парень поднимается на колени, тянет себя за волосы и поет-говорит: «В голове моей мозг высыхает, нету в сердце пылого огня».

— Тихо! Слухать бумагу!

Люди подвигаются к сборне, где на исхоженном крыльце стоит человек с бумагой. Он читает, а перед крыльцом

обособляется группа людей, забритых на войну. Бумага кончена. Человек поднимает ее вверх, говорит в небо:

— С богом!

Тронулась площадь. Мягко стучат колеса, похрустывают гужами наборные хомуты, побрякивают тусклые медяшки шлей, поют гармошки разноголосо, наперебой.

Улица поднимается по бугру, а там, остановившись передохнуть, окружили ветлы сельскую церковь. Она подняла высоко, как руку, приплавившийся под жарким солнцем крест. Все остановились, повернулись на крест, обнажили головы. Вперед вышел степенным шагом старик, взял костыль под мышки, дернул бороду к небу, и рука его, широко загребая, стала тыкаться в голову, в плечи. Тут же мелко-торопно заметались руки перед лицами людей, закивали головы, а перед воинами какой-то человек, в длинной чудной одежде, поднимал и опускал что-то поблескивающее и простирал руку над склоненными головами.

Окраину села замыкает поскотина. За ее высокими воротами начинаются пашни, а в черте березовой изгороди, на лугах, болотцах и в рощицах все лето привольно пасется без присмотра скот. Здесь же в весенние, летние праздники проводит свой досуг сельская молодежь, играя в лапту или бабки. Сюда летними ночами несут парни и девушки свою любовь, и не замолкает она до утра, как звон шаркунцов и колокольчиков на пасущихся в лугах конях. Отсюда через распахнутые ворота начинается дорога в поля, а за ними — далекий, неизвестный мир, в переливах текучего марева… Тепло, поют гармошки, а женщины припадают цветными платками к плечам мужчин.

В поскотине на поляне последняя остановка перед долгой дорогой. Досказываются наказы, последние важные наставления.

Дед Аникей ходил еще на турка. Он уже стал забывать, в каких землях и сколько истоптал подметок, против какого недруга прилаживал штык к ружью. Теперь деду сказать бы слово, чтоб оно — в самый раз! Он сползает с телеги, тычет костылем в землю.

— Землю нашу не посрамите. Служить, как следно быть! Не давать супостату державу! Начальника слухай. На ерманца грудью падай, а не брюхом!

У деда Аникея в побуревших шишковатых пальцах листочки бумажек. Он раздает их воинам.

— Приберегите, — наказывает он, — пользительно. Примотните к кресту нательному эти фитки со словами отворотными от пули прыткой, сашки вострой, штыка железного.

Деда Аникея не переслушаешь. Пришло время попотчевать

напоследок, перед путем-дорогой, солдатиков и мир честной. Заплескало в рюмки вино, пошли они по кругу с приговором у любителей отведать хмельного:

— Рюмка — в руку, хмель — в голову, зуд — в каблук!

Задышали звонкие мехи тальянки, прыснули в раздавшийся круг под ноги людям жаркие переборы, и пошел по ним плясун, осторожно ступая, как по гвоздям, — а потом все уверенней, все крепче припечатывая придорожную мураву и звонко расхлестывая ладонями орехи. Попробуй-ка удержись тут на месте, когда бойкий музыкант вдруг обожжет кипяточком плясовой! Нет, не совладать с ногами, — заходят все жилки, и подбросит тебя и понесет по кругу!

Отплясали свое рекрута в родной поскотине. Растворились ее широкие ворота, — в путь, далекий путь, за край неба, на войну.

Расходятся люди. Унесут они свое горе по избам, обживется оно на пороге, — попробуй-ка пошагай через него! Меня уносят на руках в деревню. Через плечо матери я вижу в небе солнце да оставшихся у ворот стариков. Они стоят, как памятники.

Без отца

1

Мне уже много лет. Трудно запомнить и сказать, когда об

этом спрашивают взрослые.

Каждый раз, когда у нас бывает вечерами дед Митрий, он напоминает, какой я стал большой, что пора парня в седло да на полосу с бороной. Когда вернется отец, то никак не признает, и уж не миновать дела, как подойти к отцу и сказать:

— Тятя, это я без тебя вырос.

Чтоб показать потом отцу, как я вырос, дед ставит меня на порог, прислоняет к холодной двери и кухонным ножом над моей макушкой ставит метку на ребре косяка. Пристукивая по полу костылем, отходит к окну, велит стоять прямо, смотрит, надувая усы. А я, исполненный какой-то большой важности момента, вытягиваюсь по косяку струной, слышу, как затылок, поскрипывая волосами, ползет вверх.

Мать и бабушка, оставив свои дела, сидят на лавке, одобрительно ахают, шлепают руками по коленям.

Всех важнее сейчас для меня дед Митрий. Стараюсь выполнить его задание, не дышу. Краем глаза, скошенным в его сторону, примечаю, как подрагивает у деда в улыбке борода да расползаются усы. Он доволен, а я все еще расту. Уж совсем немного, сколько тут… Завтра дорасту. Дед стучит костылем по косяку, восхищенно говорит:

— Ну, совсем малехонько осталось! Теперь так: утром ешь оладьи, блины со сметаной, днем — кашу с маслом, а вечером — сухарницу с квасом. Ешь туже, чтоб пуп был навылупку!

Бабушка сокрушается, что не припасли на зиму просо, что не из чего надрать каши, нечем кормить работника.

— Пошена дам, в сусеке наметется. Приходи завтра, Степка, с чашкой — сыпну.

Дед Митрий садится у двери, кладет на пол костыль, и взрослые начинают говорить про непонятные дела. Мать дает мне железную чашку, велит лезть на печку и угостить деда Митрия семечками. Они хранятся в мешке возле чувала. Черпаю семечки пригоршнями и, высоко подняв руки, пропускаю сквозь пальцы. Семечки падают черными птичками, чашка торопливо поет. Поднимается струйка печной пыли, в носу прищекотывает, вкусно пахнет.

Хорошо зимними вечерами посидеть на печке за ситцевой занавеской на разостланной старой лопатине и пососать сухие комочки глины. Вкуснота!

Падают семечки, сухо шуршат, переваливаются, как стылые мухи на подоконнике, показывая пестрые бока.

Дед Митрий приподнимает занавеску, топорщит бороду, двигает бровями, а глаза смеются.

— Не мешкай, мужик, а то домой уйду.

Деда отпускать жалко. Велено его угостить, а это дело надо хорошо исполнить. В дедову шапку насыпаю семечек, ставлю чашку на стол.

Мать бойко, с треском лущит семечки зубами, скорлупа валится ей на колени, смешно ковыляя по кофточке. Бабушка давит их скалкой на лавке, сметает шелуху на пол. Дед примостился на западенке, степенно и точно, совсем без усилий, давит звонкие костяшки толстыми ногтями большого и указательного пальцев, похожими на сильный клюв белого попугая из бабушкиного ящика.

Бабушка не часто открывает сундук: не любит, чтоб туда заглядывали. Сколько же там всякой всячины! Когда открывают сундук ключом, то слышится щелчок с музыкой.

Если, одолеваемый любопытством, я оказываюсь возле бабушки, то она больно-пребольно щелкает меня в лоб, приговаривая:

— Вытрескал лупанцы[1], чадо христово!

Тогда я тихонько забираюсь на полати, — сверху все видно!

Тренькает певуче замок, открывается сундук… Вот где красота! Вся крышка заклеена картинками, тут целое собрание пестрых красок. Много красивых барышень с цветами, толстые люди в картузах, а на плечах — тарелочки с кисточками. В центре — большой белый попугай, которого бабушка зовет «андельской» птицей.

Трещат семечки, слабо светит лампа, подвешенная к потолку на железном крючке. За тусклым пузырем застыл язычок пламени, иногда подрагивая оранжевым жальцем. Течет неторопливая беседа. Слова выплевываются с шелухой. Темный пол усеян белыми скорлупками, они причудливо роятся звездами у приземистых пимов деда Митрия.

Одолевает сон, я забираюсь на полати. Дед, задрав голову, провожает меня глазами.

— Мотри, паря, не хлубыснись[2], мила душа, а то еще торкнешься[3].

Хорошо на полатях утонуть головой в подушке! Под ухом слабо шуршит перо, голова отваливается, нет ни рук, ни ног, — совсем пушинка, — и понесет тебя детский сон под своим чудным крылом…

Смутно слышу, как подо мной что-то грохает: это дед собирается домой, стуча костылем в полатницу, спрашивает:

— Степка, за кашей-то придешь ли?

Как ответить деду, когда язык спит?

— Уходился парень. Ну, спи, сверчок-певунок.

А я разве сплю? Я живу во сне на полатях.

В окне солнце, все куда-то ушли, Один дед Митрий стоит в избе и подает мне на брус полную шапку каши. Ее много в избе, и дед сам уже стоит в пимах, до колен в каше. Деду хорошо, как и мне! Его нос горбится, тянется к бороде, на лысой голове вздрагивает хохолок волос. Это уже совсем не дед, а попугай из бабушкиного ящика. Он выпорхнул оттуда, рад светлому дню и солнцу, смотрит на меня черной смородинкой глаза.

2

Остепенились бураны. Долго они жили в нашей печной трубе. Иногда их там собиралось много, было им тесно, отчего в печную вьюшку выскакивали снежинки и, как холодные иголочки, втыкались в щеку, когда я приклонял ухо, чтоб послушать попевку вьюги.

За окном стало светлее, солнышко чаще и охотнее смотрело на деревню, текучие волны сугробов приосели.

До чего же хотелось выбежать на сияющую улицу, взобраться на высокий сугроб, упасть там вверх лицом и лежать выше трубы, а потом стремительно скатиться по крутому боку сумета, обязательно с перевертом, чтоб не сразу понять, в какой стороне твоя изба.

Я просился на улицу, но мать сказала, что нет обуток, что надо просить у дяди Василия, да и дратву поиздержали.

— У-у, как долго ждать… Уж скоро вся зима растает.

Так манит улица, что иногда выскакиваю за двери босой, в одной рубахе, пританцовываю на холодном крыльце, сую голую ногу в снег и затем влетаю в избу, где меня водворяют на печку ощутительным шлепком.

Хоть и долго ждать радость, но она все равно придет! Она уже в дверях. Приносит ее высокий, благообразный и слепой дед Василий. Он живет с нами в одной ограде, как и дед Митрий. У порога, под полатями, стоит рослый бородатый старик, с белыми, налитыми теплым молоком глазами. В его руке моя радость: новые обутки с кошмовыми чулками и подвязками, свитыми из конопли. Я пристыл к полу… Хочется протянуть руку, потрогать обутки, но мать, улыбаясь глазами, ничего не говорит.

Дед крестится и кланяется на угол печки. Мне хочется сказать ему что-нибудь хорошее, помочь. Когда он и второй поклон отпускает в ту же сторону, я не выдерживаю:

— Дедушка, бог не там.

Он поворачивает голову в мою сторону.

— Бог, он везде. В какой стороне его нет?..

— У нас он вон где, — показываю я в передний угол на икону.

Бабушка грозит мне пальцем, а мать велит подойти. Зачарованный обутками, я готов их схватить, но бабушка уже около меня. Она давит мне на плечи, а ее слова стучат мне в макушку:

— Стань на колени, поклонись в пол дедушке, скажи — благодарствую.

Стою на коленях, киваю головой, но бабушке это не нравится.

— Ниже, в ноги!

Она прижимает мою голову к полу и не отпускает, пока не произношу:

— Дедушка Василий, благодарствую.

Вот долгожданные, с чулками и подвязками! Из ящика достают новые штаны, сшитые из домотканины, покрашенные отваром каких-то корней. Я в штанах, обутках, бешмете и шапке. Дед Василий, сидя на западенке, протягивает ко мне руки.

— Поди-ка ближе, посмотрю на тебя.

Он обшаривает мои ноги, мнет смазанные дегтем голенища.

— Статно вышло, распятнай те в нос! Поспел мужик к штанам. Анна, каку боль тебе горевать теперь! Мужичище-то какой на печке выпарился. Пузырится, как на дрожжах, — хоть сейчас по солому!

Отнял от меня руки дедушка, — мелькнули обутки через порог, протопали по крыльцу, выскочили за ограду. Эх, кому бы показать!

Кончилась жизнь на печке да на полатях. Вышел я на улицу. Мать брала теперь меня с собой в пригон убираться.

Хорошо было гонять корову на водопой к реке по наторенной дорожке! Хорошо смотреть, как дышит в темной проруби речная вода, как пьет тяжелая корова, опустив длинные ресницы на большие глаза. Глухо булькает вода в коровьем мягком горле, маленькие перламутровые жучки пугаются шумного ее вздоха, ныряют в заманчивую глубину, загребая лапками-веслами.

У проруби разбросаны мелкие кусочки льду. Удержишься ли, чтоб в обратный путь не прихватить светлые хрусталики, даже пососать их.

Опускается вечер, жидкий зимний закат отцветает за голыми березами, сизеет снег в береговом тальнике.

3

Прошумело лето, прогретое солнцем, прополосканное

грозами, обдутое теплым ветром. Сколько радости было у деревенских ребятишек в пору сенокосную!

Обласканный утренним сном, слышишь, как в суетливых сборах поскрипывают под ногой половицы, укладывается в корзину запас, наливается в деревянный туес вечерошнее молоко, поскрипывают пучки сочного батуна, а в незакрытую дверь натягивает со двора холодок.

В ограде уже запрягли в телегу лошадь. В чистый воздух влит тонкой струйкой запах дегтя. Под навесом звонко отбивают литовку, а дед Митрий у нашего крыльца дает наказ:

— Не мешкайте. Сегодня Аннин паек беспременно кончить надо: месяц на ущерб пошел, — дело может изгадиться.

Я полусонный выскакиваю на крыльцо. Меня еще не берут с собой, а только прокатывают на телеге от крыльца до ворот, и так досадно, что проспал. Дед открыл ворота, телега с народом выкатилась на улицу, уже застучали колеса, дробно забрякало подвязанное ведро. Я бегу вдогонку, с горя хочется зареветь звонко, чтоб услышала мать, но дед грозит мне костылем.

— Куда тебя понесло ни свет ни заря! Ух ты, безотцовщина. Опять без штанов?

Как-то сразу забываю свою досаду, потому что побаиваюсь деда. Он хороший, а бывает и строгий, когда прихватывает на воротах, где хорошо качаться и слушать, как они скрипуче охают. Дед Митрий всегда появляется неожиданно, не дерется, а с каким-то завыванием говорит:

— Ах, разлетна твою боль… Язви тебя[4] в ребеночка-то!

Гремят по улице телеги, бойко бегут лошади, неохотно подымается дорожная пыль и сваливается на обочину полусонная. Стою возле деда, он здоровается с проезжающими, что-то спрашивает, чешет под мышками.

Хороша деревенская дорога утром! Рано начинает она хлопотливый трудовой день. Даже солнышко не успевает захватить ее в дремоте. Вот оно только-только проснулось и, встав на дыбки, заглянуло поверх речного тумана в деревню. Смотрит и на нас с дедом Митрием, на подпрыгивающий на телеге мокрый лагун[5] с водой, заткнутый сочным пучком зеленой травы.

— Проспал, якорь те в нос, — оборачивается ко мне дед. — Спать надо в штанах — всегда поспеешь. Ты уже большенький стал — голяком стыдно. Вот скажу Паланьке, — не пойдет за тебя. Что без невесты будешь делать?

Это меня не огорчает: у самой Паланьки нет штанов.

За дружбу с соседской девочкой взрослые прозвали нас «женихом и невестой», и мы привыкли к этому. За баней, возле

мелкого ручейка, часто играем в «дом». Я — мужик, а Паланька — баба. Из сухих стеблей бурьяна строю дом, крою лопухом, хожу на охоту, приношу полную горсть козявок. На берегу ручья у нас пашня. Выгнутой жестянкой вспахал целый загон, а Паланька варит похлебку, бросая в черепок лепестки цветов. Когда паужин[6] готов, отпрягаю лошадей, покрикиваю для порядка. Садимся к черепку, но тут Паланька спохватывается:

— А мы не молились!

— Некуда молиться-то.

— Давай на баню.

— Там черти живут.

— Они ночью там бывают.

Поворачиваемся к бане, крестимся на стену и паужинаем.

Долог летний день, а работы невпроворот. Паланьке надо выстираться, мне — запрудить мельницу, намолоть сусек муки. С мукой прибавляется еще работа: пора квашню заводить да шаньги стряпать. Так не заметишь, как день пройдет.

Вот уже и вечер. Пора встречать мать с сенокоса, а чтоб подальше прокатиться, побегу на самый край улицы. У ворот стоит дед Митрий — придется надевать штаны. Они только болтаются на ногах, держи их все время. Без них хорошо топтать солнце в лужах! Задерешь рубаху до подбородка да как побежишь… Ничего, что ноги, спина и живот будут похожи на бурундучью шкурку, — высохнет, оботрется!

В конце улицы много собирается ребятишек встречать своих с покоса. Сколько возникает разговоров, рассказывается новостей, что накопила улица за долгий летний день.

У Сенькиной бабушки закружило голову, и она разбила крынку с молоком. У Куклиных котору ночь падают воротцы на грядку с батуном. К Михалевым заходил трясучий бродяжка, а около Бушуевых надысь[7] в грозу пала громовая стрела. У Данилкиной коровы суседка унесла молоко. Федькин отец прописал, что воюет на коне.

Последнее сообщение взбудоражило мальчишек. Миг — и ватага на лихих конях-хворостинках налетает на придорожный бурьян, сечет с выдохом прутьями широкие лопухи. Они громко хлопают, вздрагивают рваными краями. Только богатырский репей, охлестанный со всех сторон, стоит еще «под вострой сашкой», но и он скоро перед победителями склоняет свою малиновую голову.

В пылу скачки и горячего сражения не замечаем, как в улицу въезжают долгожданные покосники. Кто-то зычно, с привизгом, будто выстрелом, ошарашивает нас:

— Кавалерия, смир-р-р-но!

И нет уже кавалерии. Кони лежат на поле сражения, задрав обтрепанные метелочки-хвосты, а всадники с сияющими лицами бегут к телегам.

Подаю руки матери, становлюсь на ее твердо согнутую ступню, и она, сказав «опочки», легко подбрасывает меня, садит рядом с собой на свежескошенную траву. На телеге сидят женщины, а лошадью правит чернобородый дядя Степан. От людей пахнет потом, лица потемнели от загара и усталые. Мать достает из корзины «заячий гостинчик» — кусочек хлеба, нарочно оставленный, и пучок земляники на ветках. Ягоды струят аромат, и нет ничего на свете вкуснее сухого кусочка с пашни и земляники!

Медленно плывут в улицу телеги, развозя по оградам плотный дух сочных трав.

4

Я уже большенький: седьмой годок пошел. Растет у солдатки Анны парнишка про запас, а там еще и второй топырится возле лавки.

Спасибо, свои помогают. Три дома Титовых в одной ограде. Дед Митрий да дед Василий правят хозяйством. Это они велят своим помочь матери посеять пашню да страду страдовать.

Быстро бежит лето — не знаешь, каким плечом повернуться к работе: оба натерты. Давно ли с сеном убрались, поди, стога не успели ухряснуть[8], начинает торопить хлеб. Зачни страду, — не вылезешь из обуток, и кони в хомуте наспятся.

Не корыстный пока я работник, а мать берет меня на пашню. Сегодня едем жать пшеницу.

День разгуляется: с утра на речке покрутился легкий парок, да и улегся в кусты до вечера. Роса спадает скоро.

Дядя Степан смотрит на небо, отвязывает лошадей, запряженных в жнейку, садится на пружинную беседку и трогает. Дрогнула жнейка, покатилась на железных колесах, застукали где-то часто-часто маленькие звонкие молоточки. Через плечо дяди повешен длинный бич, он важно ползет по дороге, а узелок на его конце играет. Жнейка с поднятым полком, как большая однокрылая бабочка, которую тащат два черных муравья.

Со склона в низинку соскользнула пшеничная полоска к дороге, а навстречу ей вышел таловый куст. Тут дядя Степан настроил жнейку, налил в шестеренки сизую мазь, — и пошла работа. Стрекочет жнейка, размахивает граблями-руками, укладывает на полок хлебные горсти, смахивает назад.

Мать показывает, как делать вязки для снопов. Она вырывает пшеничные стебли, бьет по обутку, стряхивая с корней землю, соединяет колосьями две доли и скручивает тугую вязку. Ловко у ней получается, а мои выходят головастые и тут же расползаются. Мать подбадривает меня, говорит, что, случись с нами отец, — троим эту работу только полой замахнуть! Только бы я помог убрать полосу, а зимой, как будет полегче, она сошьет мне новый шабур[9] и выткет опояску с кистями. Принимаюсь за дело горячо. Подношу свои вязки, она хвалит мою работу, переделывая ее.

— Ну, что бы я без тебя одна сделала!

Хватко вяжет мать. Крепкая, коренастая, в нарукавниках и поголешках[10], она быстро укладывает шуршащие горсти на вязку, опоясывает, нажав коленом, подвертывает тугую скрутку и ставит сноп в хрустящую жниву.

— Просохни, провейся — зерном налейся!

Стоят на полосе снопы, как подпоясанные мужики.

А день-то, день, как разыгрался-разведрился! На голубом сарафане неба приколото солнышко, земля купает свое лицо в потоках света, и стекает с неба синева на спины коней и черную бороду дяди Степана.

5

Что ж ты, зима окаянная, знать, не тем концом ты попала в нашу деревню! Сечешь буранами несусветными, солишь в лицо прохожему человеку мелкой жгучей крупой, — глаз не разодрать, головы не повернуть.

Сколько птицы и зверя всякого теперь попримерло: где раздобыть прокормку в такую беду? Излютовалась ты, охлестала полы об углы избяные, об застрехи да изгороди, изошла завалами-суметами, повыскоблила на дуванах пролысины. Угомонись, пусть мир вздохнет! Застоялась скотина по душным хлевам. Пусть у стенки на солнце погреется, припотянется да об углы почешется.

Скучно ребятишкам в такую погоду по избам сидеть. Редко-редко мать или бабушка берут меня с собой в гости к соседям.

Эту неделю бабушка похворала, только к воскресенью поправилась. Сегодня она открыла ящик, достала юбку, потрясла перед окном. Я сразу догадался, что бабушка пойдет к соседям посидеть. Отставать нельзя!

— Бабушка, ты куда?

— На белый свет поглядеть. Неделю за порогом не была, забыла, у кого на какую сторону скобка у двери. Сходить-узнать,

может, где нищий какой слух по народу пронес.

— Я пойду?

— Пойдем, пойдем. Где-нибудь пирог с таком найдем.

У нас таких пирогов не стряпали, а в гостях всякая постряпушка, как игрушка.

На веселом месте стоит дом, и живет тут справный мужик: на окнах занавески, двери и стены выкрашены, расписаны петухами и цветами. Стол под узорной клеенкой, на нем деревянный туес с квасом. Выпьешь — в нос кинется. Вдоль стен — толстые лавки, под потолком — божница, обложенная расшитым полотенцем с кистями. Оклад иконы яркий, — со свету кажется, что вместо бога — дыра.

Бабушка крестится с низким поклоном. Я тоже молюсь и смотрю в дверь горницы на пышную кровать и узорный сундук. Тут живет Кинька — моя ровня. Нас встречает его бабушка, сажает на лавку, сама становится спиной к теплому боку печки, откуда блестят глаза Киньки. Он манит меня, я гляжу на свою бабушку, но она занята разговором.

Кинькина бабушка, погрев поясницу, собирается угостить нас. Раздеваемся, садимся за стол.

На шестке уже голосит самовар, на столе — коралька хлеба, в деревянной чашке — простокваша с сахаром, на сковородке — морковные пироги и крупные картофелины в масле. В хлебальной чашке квас ходит кругами, пенится, мигает пузырьками.

Моя бабушка дает мне ложку. Макаем картошку в солонку с крупной солью, хлебаем квас из общей чашки. Бабушка зорко следит за мной.

В гостях всегда вкусная еда. Увлекшись, усердно работаю ложкой. Бабушка останавливает меня. Ее губы собираются в узелок, глаза сердито колются из лучистых морщинок.

— Не чамкай. Набил мамонь-то — прожуй! На молотягу торопишься?

Умеренней работаю ложкой и, когда несу ее ко рту, подставляю снизу кусочек, чтоб не запачкать красивую клеенку.

Вот она, простокваша с сахаром! Охота попробовать: она с сахаром, а такое дома редко бывает. Жду, когда бабушка черпнет первая: маленьким раньше взрослых в общую чашку лезть не полагается, — за это и в гостях по лбу достанется.

Бабушке не хочется, чтоб я булькался в общей чашке. Она смотрит на меня, потом на Кинькину бабушку, говорит сокрушенно:

— Чистая беда у нас, Петровна! Степка от простокваши отворачивается. Что ему такое, матушки, подеековалось, прости господи?

Из рук выпала ложка, — простокваши мне не видать. Кинькина бабушка дает мне кусочек сахару, и я лезу к Киньке на печку. Там мы по очереди сосем сахар, строим из лучинок мельницу, городим пригоны, ездим по солому, на «ярманку».

Наши бабушки чаевничают. Парит самовар, дымятся чашки. Калякают бабушки, на растопыренных пальцах держат блюдечки, громко схлебывают чай, экономно прикусывая сахар. Я все время слежу внимательно за столом: не появились ли там пироги с таком.

— От сына-то слух есть ли?

— Аногдысь прописал, что под ерманский газ попал.

— Солдатка ревет?

— Как не заревешь: двое на руках. Меньшой-то хворый, по всей ночи базлат[11].

— Перехлещут народ, переколотят начисто мужиков.

— А у нас, к чему бы это, тараканов — страсть!

— Так уж водится: на людей урон, а на погань плод.

— Слуха никакого от бродяжек не было?

— Давно не проходили. Не знаешь, что и на белом свете деется.

Не парит на столе самовар. Моя бабушка переворачивает на блюдце чашку, кладет на донышко остаток сахару, крестится. Гости кончились — домой. А пирогов с таком так и не было.

6

Ой, как много нынче тараканов! Днем они прячутся по щелям да углам, а ночью выползают несчетными стадами, кружат по потолку, тучами опускаются по стенам, набиваются в шкаф, снуют по пустым чугунам, лезут в треног с водой и рукомойку.

Утром бабушка топит печь, не зажигая огня. Обваривает кипятком крылатую орду на стенах, за печкой. Убавится их на какую неделю-две, а после опять наплодятся они под полками, на полатях. Никакого припасу в избе не держи.

Нам с братом с тараканами было не так уж плохо. Когда на дворе были бураны или морозы, мы устраивали на печке сражения. Тонкой лучинкой выгоняли «ерманцев» из щелей, сбивали щелчками и выбрасывали в продушину на улицу. Отыскивали силачей, привязывали их на ниточку с разных концов, наблюдали, какой возьмет.

Однажды я проснулся от боли в ухе. Там творилось что-то страшное, — я закричал. Мне показалось, что в голову набралось полно жуков. Перепуганная мать стащила меня с полатей,

накапала с перышка полное ухо постного масла. В голове поднялся настоящий грохот, я окончательно перепугался и неожиданно громко заревел. Мне обвязали голову платком, опять водворили на полати и сказали, что к утру таракан сам выйдет.

На другой день плохо слышал на одно ухо: таракан разбух. Мать сказала, что он высохнет и сам вывалится, Через неделю оно так и случилось.

Решили морозить тараканов. Вытаскали и выхлопали одежду на снегу. В пустой избе открыли двери — начал работать мороз. Всю неделю жили у деда Василия. Потом обмели углы, замазали щели, нагребли ведро тараканов. Я отнес их на улицу и похоронил в сумете.

Лето вытянет веревочкой, а зима согнет дугой.

Поздним вечером засыпаешь под жужжание прялки, утром опять слышишь знакомое воркование. Мать не зажигает огня, прядет перед затопленной печкой. В колеблющемся свете кружит колесо пряхи, поскрипывает погонялка, повыркивают вьюшки… Рука матери мечется перед кудельком. Тень от нее подрагивает на стене, похожа на бородатую голову деда Митрия, из которой мать выдергивает пряди волос. Дедовой голове больно, а рука безжалостно общипывает ее. Мне смешно. Мать смотрит на мое проступающее в сумраке лицо.

— Вечор расстаралась у пряшника веретешко. Помогай опрясть изгреби[12]. К весне вытку тебе на ченбары[13].

— С карманом сошьешь?

— С двумя, как у больших!

Давно завидую Ваньке Комаренку: он всегда держит руку в кармане.

Короток зимний день. Круто солнышку подниматься в гору. Долго утром оно добирается до нашей деревни, бредет где-то косогором, нехотя поблестит над замершими березами и начинает сползать, заваливаться за край деревни Лежебоково. Из-за далекой заимки шагнет в согру[14] вечер, потопчется в тальниках, наследит синими пятнами теней на берегу речки и подастся к избам, к людям, послушать где сказку, где песню, где горе помыкать в углу, посмотреть, что делают люди.

Горюй не горюй, а вечер пришел — вечеруй. Прогулял вечерок — потерял кусок. Длинна зима, да за ней весна. Не заметишь, как на гнутких ветках черемухи засуетятся под окном бойкие синицы-мясники, запоют: «Тките, тките, тките». Торопятся люди: прядут пряжу, мотают полумотки, мочут, вымораживают.

Мы с матерью с которых уж пор вечеруем. Я хорошо наловчился сучить пряжу веретешком, а теперь гоняю пряху. Мать видит мое усердие и задает на вечер урок.

Чтоб не скучно было коротать зимний вечер, чтоб не одолела одного в избе зевота да дремота, иногда у нас собираются посиделки. Приходят соседки, рассаживаются по лавкам, — и закружились пряхи, забегали погонялки, зашевелились тени по стенам. Под горкотание прялок в трудовой зимний вечер расскажется много историй и смешных и грустных. По молчаливому согласию как-то сама родится песня, поется не громко, и бередит сердце доля «Хаз-Булата», кольцо казачки, что дарила, когда казак «шел во поход». Остановятся пряхи, междудельем поплачут женщины, каждая о своем, и опять замелькают точеные спицы в торопливом беге.

Я пропрял палец. Тонкая нитка растерла кожу на сгибе, больно чиркает, как каленая проволока. Мать смазывает ранку постным маслом, завязывает палец, смотрит на коросты, что кучками сидят на моем лице.

— Беда с моей пряльей, прости господи, — говорит она соседкам. — Напал каку-то боль летучий огонь, испятнал, искоро́стил парнишка.

— Сводить бы его к Силантьевне, — советует тетка Апросинья, — сказывают, она его выводит.

— Никуда не води, — вмешивается тетка Фекла.

Она встает, крестится в передний угол, подводит меня к лампе. Смотрю ей в доброе лицо, тронутое пробежкой морщинок. Она пальцами ощупывает островки корост.

— Узда-то у вас далеко ли?

Мать приносит узду. Тетка подводит меня к печке, ставит на заслонку, пропускает повод в кольцо печной вьюшки, конец подает мне.

Замолчали пряхи, все смотрят на меня и на тетку, а она наказывает:

— Говори шепотком: «Ты, летучий огонь, ты меня не тронь».

С волнением произношу эти слова, полные какого-то большого значения, а тем временем тетка сложенными удилами узды касается моих щек, кружит холодным железом около болячек, приговаривает:

— Боль падучая-прилипучая, не ступай за порог. От лица огня — сгинь-пропади. Жаром-полымем исчадии, ветром буйным повертучим закружись, частым дождиком секучим истребись. Аминь.

Тетка ногтем мизинца чертит болячки сухристь-нахристь, вешает узду на брус полатей.

— Утрясь пойди, — наказывает мне она, — понеси узду в пригон, повесь на столб, плюнь от себя три раза через плечо, — пусть присохнет падуча боль на столбе!

— Лезь на полати, — говорит мне мать.

Стараюсь заснуть под воркование прях.

7

Солнце на лето — зима на мороз. День длинней — мороз сильней. Подтяни опояску, сунь солнце в лохмашку, приналяг плечом — и зима нипочем!

Студено на улице. День прибывает по воробьиному шагу, но пошло уже время от солнцеворота: белее снег, темнее жерди в заснеженном пригоне, и, приласканный скупым теплом, слезится угол крыши маленькой светлой сосулькой.

Скоро можно играть в бабки. Отыскиваю старые за печкой, их осталось немного. Здорово обчистил меня в прошлом году Ванька Комаренок. Рука у него хорошо несет: резнет по кону — бабки колются. Нет у меня панка-налитка. У Миньки Акатенка есть свинец, да он просит за него десять бабок. Достать бы барабанный зуб или плитку, а то и галька хороша. Федька Тормозенок сулил, да жадуля он.

Мои хозяйственные мысли прерывает бабушка:

— Тупай завтра к Микитке. Спеваться пора: до рождества совсем ничего осталось.

С Микиткой — одногодком и родней — мы уже по два года славим по деревне в рождество. Бабушка сказывала, как Михею Астафьевичу сильно понравилось, когда мы в прошлом году у него славили. Он сыпнул нам пличку гороху и тройник дал.

В воскресенье бегу спеваться. Микитка сообщает, что дед Мармошка покупает сорок по пятаку за штуку. Надо поймать десять сорок, продать, а на деньги купить бабок. Правильно он придумал!

В пригоне настораживаем подсевальное решето, кладем под него кусочки мяса, протягиваем веревку в окно хлева и с нетерпением ждем.

— Сейчас, живчиком прилетят, — уверяет шепотом Микитка. — Они, сороки, почуткие на мясо!

Сороки не летят. Нам холодно сидеть без движения. Шевелим пальцами рук и ног, швыркаем носами, утираемся рукавичками.

— Давай надуваться, — предлагает Микитка, — сразу будет тепло. Задыхни в себя больше, больше, а потом сожми шибче губы и толкай из себя воздух, — тепло из нутра-то пойдет по концам.

Надуваемся. Полоска света через окошечко падает на Микитку. Его щеки вздуваются шарами, глаза широко открылись и остановились, голова в большой шапке трясется. Он разжимает

губы, — белый пар изо рта вылетает выстрелом в угол хлева.

— Жарче стало?

— Нет еще.

— Сперва-то не сразу. Опосля маленько разожгет.

Надуваемся опять. В ушах поет, как в самоваре, в глазах пробивают искорки, а пальцы прищипывает. Решили наплевать на сорок. Пошли греться в избу.

Хорошо с мороза на печке засунуть босые ноги в рукава старой шубы, сесть на застывшие пальцы рук и почувствовать, как они затокают в тепле.

Пока греемся, Микитка рассказывает про одного чужедеревенского мужика, которого одолела «мозговая сухотка». Держат того мужика в амбаре, а когда забудут закинуть на замок, он уходит в огород, раскапывает грядки, ищет клад.

Микитка рассказывает и немного щурится, косит глазами. Я завидую его волосам: мягкие они, светлые, вьются! Лицом он белый, губы собраны сердечком и красные, будто держит он во рту красный бантик. Как-то он пришел к нам в гости. Бабушка подивилась на него:

— Чисто анделочик, а глаза — две синие ляльки[15], только крылышек нет!

Дед Митрий тогда посмеялся:

— Горе тебе будет, паря. Зацелуют тебя девчонки.

Голос у Микитки тонкий-тонкий да певучий, тянется базарской ниточкой, не рвется. У меня — потолще и резкий. Складно поем, только Микитка иногда останавливается, закрывает ухо и говорит:

— Ты шибко-то не реви, а то в ухе дребезжит.

Договариваемся не есть снег, чтоб горло не запало, а то другие славильщики общелкают наш край.

Накануне рождества у меня все готово. Есть мешок под муку, мать приладила карман для денег, дала чистую тряпочку под пироги, а бабки буду класть за пазуху.

На ночь пришел Микитка, чтоб завтра выйти затемно. Попили чай, поели хлеб, натертый луком, отправились на полати.

Перед сном Микитка рассказал про солдата, который остановил свадебный поезд тем, что поставил меж ног дугу вверх концами, отчего все лошади выпряглись. Бились, бились мужики — ничего поделать не могли. Захлестнут дугу в гужи, засупонят хомут, а она «шшелк и кверху шарагами!». Пало кому-то в голову угостить солдата. Выпил он рюмку — дуги смыганули в гужи, свадьба трень-брень и, на тебе, поехала!

Бабушка стучит по брусу полатей, спрашивает:

— Славильщики, лбы-то на ночь крестили ли?

Мы и забыли помолиться. Торопливо крестимся в передний угол, а там на божнице новое полотенце, и горит тоненькая свечка. Помолившись, расстилаем на печке онучи, чтоб за ночь набрались жару, укладываемся спать.

Бабушка тоже начинает молиться. Она подняла остроносое лицо к божнице, руки безвольно сложены на груди. Кажется, что она застыла, что ее нет в избе, что подбирает молитву, с какой лучше начать. Губы беззвучно шевелятся, но вот побежал торопливый шепоток: слышу, как она упоминает «раба божия Павла-воина и деток его», просит не оставить милостью, отворотить «стрелу каленую», спасти из огня-полымя кормильца-добытчика.

Где отец, какая война, почему тревожно молится бабушка? На карточке отец с «сашкой», сильный и веселый. На коне он всех одолеет, но бабушка опять просит икону: «Защити и помилуй…» Видно, страшна война, когда бабушка вот уж сколько молится.

Просыпаемся рано. Не лежится на полатях. Терпения больше нет! Обуваемся в горячие онучи, выбегаем на крыльцо. Редки еще огоньки по нашему краю, но скоро их станет больше — этих манящих глаз зимней ночью в деревне.

Пора отправляться. Для распева поем дома. Бабушка что-то шарит в шкафу и, когда мы допеваем, дает по конфетке, говорит, куда зайти непременно, да чтоб пели важненько.

Хорошо бежать по заснеженной улице зимой! Смотрят на нас избы светлыми глазами окон, окуривают первым утренним дымком из печных труб и ждут не дождутся, когда мы в темных сенях нашарим скобку.

8

Мороз не велик, а стоять не велит. На мирской работе и топорище в поту.

Завтра крещение. Сегодня, как только мороз приотпустил, общество делает ердань[16]. На пруду, за мельницей, народу, как мурашей в горшке. Расчищают площадку, пробирают ход с берега: хоругви по суметам не таскают. Работающих сменяют случайно зашедшие, лопаты переходят из рук в руки. Кто приморился, отходит в сторонку, «приспустить парок», подзадорить сменившего веселой шуткой или острым словом, как шилом.

— Марковей, суй лопатой веселей!

— А ты, Сидор, что лопату-то, как девку, оглядываешь?

— Девку-то выбираешь, как лопату али по любви?

— Любить люби, а собрался жениться — гляди.

— А ну, тормозовские, покажем лежебочинским!

Могут ли женщины остаться в стороне, не подсыпать в этой шутейной перепалке пороху в общий заряд.

— Нечего призводиться над нашими мужиками: и так им тошнехонько, что каждую зиму штаны не сходятся!

— Филька, не сватай тормозовских девок: они целоваться не умеют!

— Наша девка поцелует в промежганье — до покрова не забудешь!

Расчищена площадка. Под смех, под шутку-прибаутку одолели миром работу.

— Пока перемешкалось дело, по цигарке изожгем да опять почнем. Ребятишки, сбегайте за Михеем Астафьевичем. Пора, мол, ердань присекать.

На другой день от церкви шествие черным потоком сливается с бугра к реке. Студененько сегодня, но все в центре шествия без шапок, иконы прихвачены полотенцами.

Во льду вырублен большой крест, пока не заполненный водой, кругом вморожены молодые сосенки. Толпится народ, настроение торжественное.

Начинается освящение. В основании креста — широкая ледяная чаша. Плотный человек без шапки, в черненом полушубке, поярковых пимах, бьет ломом в дно чаши, и выпрыгивает оттуда кудрявый, булькающий столбик воды. Заполняется чаша, светлый поток растекается по кресту. Поп читает молитву, опускает крест в воду. Народ набирает в бутылочки «святую воду», ломает сосенки и расходится по домам.

Эх, нет в живых Ивана Поликарповича… Нет теперь мужика ему под стать: на семерых лошадях один зимой по сено без шапки ездил! Воз накрячит — бастрик[17] гнется, передовики[18] рвутся. Ни одну ердань не пропускал. Привезут его в кошовке в тулупе голого. Распахнется, станет на веник, выльет на себя ведро «святой воды», падет на лошадь и домой.

9

Угомонились бураны, пометались в густой сетке березняка и опали в сиверах-завалах. Крепок еще ночами мороз, потрескивают тесовые крыши, да холодно месяцу одному в небе — побелел, съежился на один бок, опускается над деревней, чтоб погреться над печной трубой. Еще хрустки утренники с застывшим покоем, избяными дымками, бегущими по невидимой лесенке, розовеющие при встрече с солнцем.

Поежится утро в полусне, а вставать-то надо. Откроет глаза и вскинет брови — лес стоит серебряной громадой, чуден в блестках и полутенях! Пролетят над избами красные снегири, подуют в мягкую дудочку: люди, — утро, люди, — утро! Им ответит с наличины нахохлившийся воробей: жив-жив!

Скоро побледнеют и оплывут игольчатые морозные узоры на оконном стекле. Избы сдвинут на ухо снежные шапки, подставят солнцу заиндевевшие чубы, зарябят тонким паром.

Встряхнется воробей над окном, попрыгает и, согретый пристенным теплом, почирикает совсем коротенькую песенку. Как быть воробью: радости много, а песенка короткая? Можно повторить ее много-много раз. Падает песенка на завалину, бередит радостью подоконную черемуху. Хорошо-то как… хорошо! Заслушалась черемуха, обронила к ногам утренний кружевной наряд. Притаяла завалинка от теплой песенки и кадит паром.

Грустно стало зиме. Что вспоминала она? По точеной сосульке быстро-быстро побежала светлая капелька, другая… «Цирк, цирк», — плачет зима, собирая крупные слезы в ледяную чашечку у стены. Погорюет немного под нехитрую песенку воробья, потом спохватится и приморозит веник на закапанном крыльце.

Сколько дел переделано с утра! Из полена вытесал коньки, очистил стеклышком, прожег дырочки, свил из конопли веревочки, подковал коньки полоской жести. Покрасить бы, да нечем. Ладно, когда на пасху будут красить яйца луковыми очистками, накупаю коньки в чугунке. Надо поспеть управиться с лотком. Вытесал его из сосновой плашки, прибил поперечинку, чтоб не выкатывался из-под живота. Обмажу коровяком, наморожу льду и полетаю с горы!

Скоро масленица. Готовятся люди проводить зиму, — погостевала и хватит. У нас будут печь блины! Целую неделю ждешь желанного утра, когда услышишь чиркание ножа или шкворчание сала на скороводке. Под потолком бродит вкусный запах, в печи громко трещат дрова. Стена в трепещущем свете полощется розовой рубашкой на ветру.

— Мужики, — мать стучит сковородником по брусу полатей, — похватайте блинков да по солому.

Мы с братом уже за столом. Вот он пышет жаром, в мелких пупырьках, весь желтый круг оторочен тонким кружевным узором… Вкусная масленица, как долго ждать тебя!

На мельничном пруду шумная ватага ребятишек тешится вечерами на круговых качелях. В середину расчищенной площадки вморожен кол, надето старое тележное колесо, одним

концом к нему привязана длинная жердь, на втором конце — санки. Все это забавное устройство приводится в действие с помощью палок, вставленных между спицами колеса.

Стрелой летят по кругу санки, вьется снежная пыль, выгибается упругая жердь, мелькает комочком седок в санках. С мельницы приходят мужики, парни, и вот уж тогда начинается потеха! Не так много находится охотников полетать по кругу. Если же решил испробовать, то вцепись в санки железной хваткой, надвинь глубже шапку, припади плотнее на живот, стисни зубы, чтоб не вывалился в бешеной карусели онемевший язык и… Да нет, куда там! Тебя начинает сволакивать. Ноги чиркают по льду, вытягиваются, слабеют руки, уже мчишься рядом с санками, глаза от ветра полны слез, а бег, захватывающий, останавливающий дыхание, раскручивает мощную пружину.

— Поддай, прибавь ходу, — советуют зрители.

Поднажали, жердь выгнулась, рванула из рук санки — все исчезло из глаз! Не скоро найдешь шапку, не сразу вгорячах почувствуешь ссадины, не поймешь, о ком говорят:

— Слабак, мало каши ел.

Веселая масленица! Что затеешь в тихий вечер, кого приведешь на гору, кто под хмельком да разряженный начнет выкомаривать на потеху?

На горе толкутся ребятишки, как мошкара. Со всего края бегут с лотка́ми, санками. Хорошо кататься, когда много народу, когда можно доказать, что твой лоток катается быстрее, промчать девчонку с чужой улицы, почувствовать, как под полусогнутыми ногами вздрагивает лоток и, устремив вперед утиный нос, наращивает бег, приговаривает по накату: «Латоты, латоты».

Любо на катушке! Гляди-ка, а и солнцу уходить неохота! Уселось оно в тупой вершине старой березы, свернуло ноги калачиком — хорошо, сверху все видно!

Всех зовет на улицу веселая забава. Приходят на гору большие ребята, появляются сани без оглобель. Тронутся сани с горы, а в них повалится народ. Парни бросают девок в сани. На ходу смельчаки прыгают на головы сидящих, лежащих, прицепившихся на отводинах, и мчится под гору живая куча с песней, свистом, визгом. На середине горы в санях поднимается возня. Дюжие ребята выбрасывают на ходу слабеньких, кто плохо угнездился. Летят шапки, кувыркаются в снегу тела, сваливаются парами, кучами.

А случись-ка тут женатик — парень, недавно окрученный, — не отбиться ему. Окружат, подхватят, положат в сани, придавят, помчат с горы, выкрикивая для всеобщего сведения:

— Женатика обкатываем!

Потешная масленица! Не скупись на забаву, не прячь по переулкам веселье. Сюда, на шумную гору, выводи потешников.

Вот они, ряженые, веселые, голосистые, с приплясом поднимаются на гору. Пестрый шевелящийся лоскут ползет вверх, а в центре его танцующей походкой, трясучей прискочкой, семенящим шагом, с уханием и свистом кружатся мужики в бабьих юбках и платках, бабы в тиговых штанах и шапках с намалеванными сажей лихими усами. Остановятся передохнуть, да возьмет же лешак откуда-то гармошку!

Крякнет басами,
Пикнет голосами.
В руки, в ноги — по пружинке
Для проходки, для разминки.
Бросит угольков под пятки,
Ноги вывернет в присядке,
Вызовет припевочку,—
Разволнует девочку!
Развеселая тальянка —
Голосиста медна планка,—
Свою радость я отдам —
На подмогу голосам!

Заливает гору веселье. Гармошка бьет внахлест горячей дробью по ногам.

За потеху садят ряженых в сани, и мчится живой, поющий воз. Остановятся сани, и тут же шутники с криком «куча мала!» перевернут их. Ухнет в снег охнувший, взвизгнувший живой ворох, задергаются пимы, обутки. Гам, хохот, свист…

Увлеклось и солнышко общим весельем, — просело в вершине, свалилось в сугроб и потухло. Пора домой. Вечер тоже насмеялся до слез: забрызгал синюю скатерку неба светлыми капельками звезд.

Нарядная масленица! Что ты припасла на последние дни?

Вижу, вижу, как Егор Комакин выводит каждое утро бегуна Игреньку, чистит его, кормит толчеными сухарями, проминает до заимки, чтоб приобвык к дороге. Сегодня раненько посадил верхом Гараськиного парнишку.

— Давай, паря, бласловясь до заимки шагом, посля тронь рысцой, а обратно до меты — кульером для сугреву. Обежишь — к пасхе сапоги с кустюмом.

Счастливый Санька Гараськин! Сидит на скакуне, как напаянный! Уносит его конь размашистым шагом, выбрасывая

вперед стройные ноги.

Сегодня и у меня будет радость. Мать до праздника делала самосадку, мне нацедила бутылочку «опоследок». Она стоит за сундуком в углу.

Пока не людно на улице, запрягаю в сани Соловка, еду собирать друзей, чтоб прокатить по улице. Соловко трусит неохотно. Всю компанию привожу домой. Угощаемся рыбным пирогом, блинами. Ставлю на стол свою бутылку, которую мать мне нацедила «опоследок», достаю из шкафа рюмку, обхожу по кругу. Пьем, морщимся, крякаем. Девчонки только губы мочут и передают дальше. А Манька-воображуля задается: рюмку отводит рукой, губы складывает сердечком, закрывает рот платком, отворачивается.

Хорошо угостились! Досасываем комочки сахару, торопимся на улицу, а там уже все в движении. С колокольцами, шаркунцами, лентами и бантами в гривах лошадей проносятся пары, тройки… Сидит в полусанках нарядная молодежь, голосят гармошки, расплескивая веселье. Ребятишки верхом на жеребятах деловито месят сугробы. У нас нет жеребенка. Завидно… Провожаю их глазами, вздыхаю. Пойду смотреть бега.

Возле бани, на краю деревни, народу — руку не просунешь! Уже увели бегунов. Егор Комакин с Севостьяном ударились по четвертной на три версты. Не скоро доведут бегунов до исходной меты, поставят ухо в ухо и пустят в жаркий спор. Пока что гадают, чья возьмет, «мажут» за Игреньку, за Мухортку, вспоминают, как на прошлых бегах ударился Егор с не своим деревенским на пять верст, да отстал Игренька на полуха.

— Иду-у-ут!

От заимки по склону на простор набитой дороги скатываются фигурки лошадей, а на них седоки не больше папахи.

— Игренька берет! Ну и пластат, окаянная скотинка!

— Мухортка на хвосте сидит!

Уже близко до меты. Кони бьют в дорогу сильными ногами, бросают вперед два красивых корпуса. Жарко дышат расширенные ноздри, на вытянутых головах неподвижны широко открытые глаза.

— Дорогу!!

Народ, как с решета, стряхнуло на сторону, и прошли скакуны, дробя под собой дорогу.

Счастливый Санька Гараськин. Уж похвастается он теперь сапогами да костюмом.

Притомился праздник, истратился запас веселья. Да нет, у тебя, как у ласковой матери, осталось что-нибудь на расставанье! Так и есть.

Против хаты деда Бушуя к вечеру собрался народ, сложили снежный город. Хорош город, крепок — ни пешему, ни конному не подойти к нему! На защите две стены людей со снежными комьями. Пойди-ка, нет, ты, сунься-кинься, отчаянная головушка, — изрешетят, хлебнешь редьки, перо спустят и душу вышибут.

Одолела хворь деда Бушуя. Зевота да ломота — стариковская работа. А веселый это был старик и шумный. Только к чему у него борода и усы, как у бога? В компании не усидит на месте, разворошит старух и молодаек, пройдет под гармошку, присвистывая, утиным шажком да как даст трепака, и кажется, соскочил он с божнички, а уж назад не заманишь. Оттого про него всякие побасульки ходят. Говорят, в ту пору, как расписывали новую церковь в нашей деревне, шел дед Бушуй пьяный, и попадись он на глаза художникам. Зазвали деда, начали писать лик, а он уснул. Его положили, расчесали бороду, срисовали сонного и подняли ту картину под самый потолок. Только смотрит сверху дед Бушуй сквозь какой-то круг, а глаза большие, тверезые.

Отробил свое, попил, пошумел… Походил по борозде, а теперь сиди в избе. Усидеть ли, когда под окном улицу заклинило народом. Вышел дед на крыльцо, смотрит, как ухари берут город.

Ромка Куклин два раза ходил, но не осилил, — сбили, шагнуть не дали. Два раза с позором стаскивали за ноги, а он в третий собирается. Здоровяк, жилистый!

— Что, ухарь, опять посыкаешься?[19]

— Гляди, какой припас наготовили!

— Не осилишь по третьему — берегись, ерой! Снегу в штаны накладем.

— До сенокоса не проквасишься!

— У него прошлогодний залежался!

— Вытряси старый-то, — свежего изладим!

А Ромка, окаянная головушка, смеется, опоясывается, закрывает лицо руками и кидается так неожиданно, что только перед городом падает. И ведь ползком, засыпанный снегом, подобрался и сломал бы варначище[20], отчаюга город, но оттащили за ноги: бери грудью, а не подкопом, — закона такого нет!

Приехали верховые ломать город конем. Тут-то и закипели защитники. Сейчас обрушится снежный шквал на смельчака. Нахлестывает верховой горячего коня, прорывается. Снежными залпами бьют в лицо всаднику, по глазам коню. Лошадь храпит, вертится, кидается в стороны… Близка цель. Прянул конь вдыбы, смял город, свалился седок. На него обрушивается

неизрасходованный запас снега, а дед Бушуй кричит с крыльца:

— Лежачего не тронь, сукины дети!

Уходит масленица. Последний вечер. Приносим на гору по охапке соломы. В сумерках катаемся с горящими пучками. Уже совсем темно. Опустела гора. Из-под серого пепла смотрит в небо потухающий глаз сожженной масленицы, в черных ресницах обуглившихся соломинок. И месяца нет, не вышел…

10

Пост. Тихо в деревне, только топориками стучат под сараями: весна спросит, где телега с бороной. На мельнице день и ночь кружит тяжелый камень. На время половодья, когда размывает мельничную запруду, нужен сусек муки. Плещет и плещет водяное колесо.

Иду в гости к деду — отцу моей матери, где всегда хорошо встречают, а бабушка кормит жареными сочнями и галушками.

Дядья мои — Степан и Василий — балуют меня. Отправляясь в поле, завозят на гору порожние сани и сталкивают в них меня обратно. Захватывает дух от быстроты, слезятся глаза, сердце поднывает. Увидит бабушка подлетевшие к ограде сани, выскочит на крыльцо.

— Чтоб вас холера позабирала, иродовы дети! Сниму с тебя штаны да голиком напластаю!

Дядя подсевает пшеницу, я ловлю воробьев решетом, подгребаю зерно, насыпаю пудовку. На карнизе амбара лежат долота, пилочки и незнакомые инструменты. Надо узнать, что там еще есть. Сижу верхом на балке, разглядываю стружок. Стругануть охота. Приноровился, двинул, — стружок шмыгнул вперед, а я, потеряв равновесие, ухнул головой в полный сусек с мукой. Не успел крикнуть. Забило нос и рот, мука попала в глаза. Дядя сделался белее муки, когда увидел в сусеке мои дергающиеся ноги. Он выволок меня на свет. Пока лежал без памяти на предамбарье, дядя выковырнул из моего рта муку, дома бабушка вымыла в корыте. Дедушка сильно поругал дядю, попало и мне, когда ожил.

— Куда тебя, сопляка, потащило? Не было оприч другого места, родимец тебя изломай, прости ты меня, царица небесная!

Постом не едят скоромного: грех. Бабушка хлопочет у печи, вынимает глиняные корчаги, ставит на деревянный желоб. У корчаги внизу дырка, а в ней — затычка. Убери ее, — кинется теплой струей липкое, пахучее сусло[21]. Подставляю ложку, пробую сладкую благодать, заедаю пенками.

Какой только еды не попробуешь за долгий пост. Утром обедаем похлебкой, жуем хрусткие огурцы, свежие коральки, натертые чесноком, днем паужинаем рассолом.

В большой чашке под пенным налетом кружит шипучий рассол, лежат наготове ложки, выгнув расписанные торбы. Занимаем свое место в застолье. Бабушка приносит с улицы надетые на руку большие коральки. Хлеб не режут: дедушка говорит, что ломаный кусок скуснее, вроде мяса. Он первый ломает хлеб, отщипывает кусочки и бросает в чашку. За ним начинают щипать остальные, только я, гость-мельник, прозванный так за полет в сусек с мукой, жду готового. Дедушка ложкой топит куски, а они выныривают.

— Таскайте с мясом, — говорит он, стукнув ложкой по краю чашки.

Вечером еда сменная. Густая кулага[22] разлеглась в чашке волнами. Макнешь в нее хлеб, она отходит к другому краю, а как все начнут тыкать кусками, — опадет, выставив бугорки калиновых ягод.

Бабушка меня закармливала.

— Ешь да расти, работы проси. Ребятки — что утятки: корми-подбавляй и проку поджидай. Жоркий утенок от корыта не отходит, — к осени тело наводит. От еды не бывает беды: середка полна — концы заиграют!

Я ел, а живот побаливал. Бабушка возилась со мной: растирала живот, поила соленым квасом.

Погостил, — как во рту посластил. Теперь надо домой. Тихий день идет со мной по деревне. За пухлыми облаками скапливается тепло, просачивается до земли. Парни и девки играют на соломе. Скотина лежит, — это к теплу бывает. Далеко еще весна, но слышно, что где-то идет она.

Дома мать говорит, что хозяину пора собираться на маслобойку. Пост долог. Бога поминай, а маслица припасай.

На маслобойке работа в разгаре. По настилу важно ходит тяжелый камень, чадит жаровня. Мужики стягами завинчивают пресс, в бачок струит из сосочка темное масло.

В ожидании очереди ведутся разговоры о житье-бытье, о том, что учитель читал газетку, где прописано, как наш царь сказал германскому: «Куда ты лезешь, елова голова? Где тебе одолеть мою Расею — обпачкаешься!» Ходят слухи, что неспокойно в народе, бунтуют города, что объявились большаки, какие, по слухам, гнут за народ, а царю, вишь ты, они не шибко глянутся. Замиренья бы к весне надо: пахать-то, почитай, некому стало.

— Ить как она, жизня эта, излажена?.. Живешь, робишь, горбишь… Туда повернулся — подай, сюда — отдай. Оглядишься

— весь в долгу, как в ленточках! Нет крестьянину уюта. Что добыл в земле — не твое. Так чудней: пашешь, сеешь, молотишь, подать носишь, а потом — чистая диковина — посадят тебя на телегу и повезут убивать… Что к чему, пошто?!

Наелся я светлых сосулек с крыш, — заболело горло, по телу пошел жар, дыхание тяжелое. Поят меня настоем камфары, попарить в бане собираются в субботу, а сегодня позвали Митревну, чтоб поглядела, да где-то замешкалась.

Скучно лежать в избе. С завистью смотрю, как взрослые скрываются за дверью, а на дворе рассиялся день. Он заглядывает в окно, я с грустью смотрю на него. Вот и пес Черня сидит на клочке соломы, оглядывается, ищет меня. Поднимает ухо, послушает, да и начнет чесаться от безделья.

Пришла Митревна. Дверь, как в позевоте, распахнулась широко. Мне показалось, что кто-то проталкивает в избу обрезок толстого сутунка. В избе стало тесно.

— Доброго здоровьица, — прогудело надо мной. — Что закуксился?

— Испростыл весь, — объясняет бабушка. — Все сосульки с крыш пособирал.

— Эка ты, что такое! То-то я хватилась, а у крыльца нет сосульки. Не ты взял?

Шутит Митревна. У нас своих вон сколько осталось. Она разделась, покрестилась, развернула на столе платок, и я увидел серый предмет, похожий на пирог, в ярко-желтой сетке жилок. Вот она какая «громова стрела»! Это она полыхнула из синей тучи в березу возле деда Бушуя и разнесла ее на щепочки, а самого деда нашли оглушенного под сараем… Хорошо, что пало в голову закопать его в землю, чтобы отошел. Отойти-то отошел, но плохо ходит: какие-то жилы опалило, и суставы хрустят.

Водит-чертит громовой стрелой Митревна, шепчет. Страшно оттого, что шею опоясывает холодный след: ведь в ярких жилках стрелы застыла молния. Мать повязала мне вокруг шеи чулок с горячей золой, бабушка попрыскала святой водой.

— Попарьте непременно, — советует Митревна, — как схлынет жар. Скрозь хомут бы его…

Когда меня приотпустил жар, мать настлала в истопленную печь соломы, я лег на широкую столешницу, и меня голого задвинули в печку. От мокрой соломы пошел пар, — и я разомлел. Голова, торчащая из печки, покрылась обильным потом, ручейки потекли по щекам, солоно стало во рту.

— Простуда прошла, — заключила бабушка, обтирая меня тряпкой. — Потекли твои сосульки, варнак!

Пролежишь постом — повертишь потом хвостом. Длинны

стали дни, а все прихватываешь потемок. Одну работу сбудешь, — другая на горб примостилась! Хоть солнце подпирай.

Стучат по избам красна, челнок юркой уточкой ныряет в переплеты основы, шушукают неторопливые ниченки[23], разбираясь в путанице нитей, висят в солнечных лучах перед окном радужные пылинки.

Готовлю цевки — коротенькие палочки из калиновых прутьев, сматываю полумотки, распяленные на воробах[24]. Вертится тюрик[25], кружатся воробы, как девки на игрище в пасху. Завтра пойдем на сновалку в пригон к деду Василию.

11

В Авдокею нынче воробей напился, — весна будет ранняя. У столбов оседает снег, дорога показывает, что накопила за зиму. Двинуло не на шутку теплом, — так до воды не далеко. Исплакались сосульки, срываются с крыш, втыкаются в снег, городят ледяной частокол.

— Господи, владыко наш праведный! Живешь да грешишь, — вздыхает бабушка. — Баню истопить бы, попариться и в церковь сходить. Сказывают бабы, батюшка на проповедь звал, да исповедаться уж время: грехов-то, как ремков, накопилось. Они, грехи-то, как грязь, за ногами тащутся. Какой грех падет на душу — только молитвой снять.

Попарились — тело стало легкое. Тело помой, получше прикрой — за человека примет любой, а с душой не миновать батюшки.

Пошли с бабушкой помолиться за здравие отца моего, Павла-воина. По дороге она наставляла, как отвечать батюшке на исповеди. Надо говорить «грешен, батюшка», пусть он хоть про что спрашивает.

— Помолись за отца, чтоб живой был, чтоб домой пришел. Изба стала худая, что мы одни сделаем? Ты маленький, душа чистая, твоя молитва в небе далеко слышна и загорится звездочкой.

— Худо молиться — не загорится?

— Не загорится.

В церкви я не был. Диво! Яркие картины на стенах и на палках. Святые с бородами, усами, в чудных одеждах и босиком. Одна богородица над алтарем, молодая, красивая, с парнишкой на руках.

Где дед Бушуй? Он высоко-высоко в куполе! Из узких окошек вверху к нему бегут солнечные лучики, скрещиваются, а он, как в

облаках, за солнышком, смотрит на меня строго. Седой и большой, поднял вверх руку, белую и пустую, показывает два пальца вилочкой. У деда Бушуя рука не такая, а в мослатых пальцах я видел больше топор, лопату, шило или рюмку.

— Голова отпадет, — тычет мне в затылок бабушка. — Пойди к распятью, помолись, на колени пади.

Стою у большого черного креста, а на нем голый мужик обвис на гвоздях, голова свалилась на плечо. Жалко его и боязно. За что это он попал сюда? Он живой, глядит, и слезы на щеках. Из пробитых ладоней сочится яркая кровь, а раны на ногах свежие, сочные и такие больные, что я их чувствую у себя в обутках и боюсь двинуть ногами. Поражен красивым страданием, прибит к полу… Золотой алтарь, хорошая богородица, кадильный дым в солнечных лучах, батюшка в светлой ризе, добрый, как дед Василий, и кровь, слезы!..

Гляжу на раны и… скорее бы стать большим, сильным, снять с креста умирающего человека! Молитва у меня не выходит, а другие слова просятся: «Тятя, приезжай скорей, привези мне жеребенка и сашку».

Началась исповедь. Поднимаются люди к алтарю, заходят в боковинку, выходят оттуда, торопливо крестясь. Бабушка подталкивает и меня, шепчет наставления. Иду робко, моя тень ползет по бороде какого-то бога.

Батюшка накрывает мою голову, наклоняется, спрашивает про грехи. Отвечаю, как учила бабушка, но батюшка-то не знает, что Ванька Комаренок налетает первым, что это он лупит меня на льду. Его панок взял Федька, а по уху досталось мне. На сильного не нарывается!

А тут грешен. Один раз залез к лельке[26] в огород и сорвал-то один огурец, а не два. После даже дырку заделал, чтоб свиньи не лазили.

Отца не обижал. Он на войне. Матери один раз надерзил, она и побила меня за серянки[27], которые нашла в кармане. Не больно постегала, а под кроватью и совсем не достала. Помахала, — только пыль размела.

Батюшка спрашивает еще. Из-за покрывала вижу кончик его бороды, куда падает яркий свет. Кончик дрожит, накаляется, и кажется, что начинает плавиться, вот-вот потечет на пол огненными каплями.

Идем к выходу, а я гляжу на крест. Перед ним на коленях плачет молодая женщина. Бабушка говорит, что это Парашка Буря. Батюшка не принял у ней исповеди, велел сначала помолиться.

— Наблудила, хвост замарала, — пореви теперь. Твой грех,

как смола, — не слезами, а кипятком отпаривать надо.

А мне жалко Парашку. Она хорошая, как богородица, и слезы крупные, как на распятье… От жалости к ней потухли яркие оклады икон, красочные одежды святых, и в душе мне как будто пробили гвоздем дырку.

12

Подули ветры с полудня, качают лес березовый, гнут траву-старье. Ветрам самое время развивать на ветках мочку, пашню подсушить. Весна явилась ранняя, — хлынуло тепло.

Как в мире дивно сделано! Весна приходит каждый год, пора бы попривыкнуть к ней, а смотришь, — вышла новая, и наряд на ней другой. На вербу понавешала пуховых катышков, в ложке гусинку красную, жирную да хрупкую повыгнула-изладила, как шею гусака. Под чащей старой додумалась-ухитрилась открыть медунке синий глаз. Волнует птицу всякую, у ней забот прибавилось, а песен — полный рот!

В эту весну и к нам в окошко постучала радость. Пришел дед Ласковец.

Дед был вестовым на сборне, его невысокую фигурку да седенькую бородку каждый переулок знает, его клюшка знакома каждому окну. Деда ждали и побаивались: кто знает, с чем он идет — с радостью, а может, горе принесет?

— Ну, ты вот что, солдатка, — сказал дед Ласковец выбежавшей на улицу матери, — мужика-то ждешь ли?

Кольнуло в сердце — беда… неужели не обошла!

— Пошто с лица сменилась? Идет твой Пашка домой. Из волости наказывали упредить. Надо быть, там уж он.

Мать опомнилась, когда перелетела через порог избы.

— Мамынька, — кинулась она к бабушке, — сказывают, Павел… встречать надо! Где ребятишки?

Мы с братом за амбаром выполняли наказ бабушки — хоронили курицу. Курчонка запела дурным голосом, — бабушка встревожилась и пристукнула ее, чтоб не напела беды. Долго ли: время-то какое теперь? Мы уже ставили крест из прутиков, когда подбежавшая мать стиснула нас от радости.

— Ребятишки, тятю будем встречать! Возьмите ченбары, пожамкайте[28] их на речке.

Стоя на узком плотике, окунаем ченбары в воду, топчем ногами и опять окунаем. Толстые штаны, разбухшие от воды, уже трудно удержать в руках, и, оскользнувшись на мокрой доске, я падаю в реку. Брат перепугался (его как сдуло с плотика), ревет

на берегу. Не помню, как ухватился я за колья и выкарабкался. Наши ченбары мирно лежали на дне в глубоком месте.

Отца встретили на второй день. Уже несколько раз бегали на край улицы, чтоб посмотреть, как он подъедет к нам на коне с шашкой, а он вошел в улицу пешком. Шинель, фуражка, солдатский мешок за плечами и пучок гусинок да медунок в руке. Вот он, наш тятя! Признал его по карточке, но не решаюсь побежать навстречу. Отец приглядывается к нам, мягким баском спрашивает:

— Вы чьи, ребята, будете?

— Китовы. Это мы, тятя.

Схватил нас отец, поднимает, кружит.

— Какие вы матерые вымахали! Ведите домой.

Улица, улица, да разве ты не видишь, кто идет! Услышали люди, выходят к воротам, а мы, все трое, взявшись за руки, шагаем домой. Вон и изба наша, а там дед Митрий, дед Василий… Мать бежит нам навстречу, бабушка спускается с крыльца, вытирая руки о запон. Дед Митрий широко раскрывает ворота.

— От ворот к крыльцу — путь солдату-молодцу!

Ни у кого в ограде нет больше солнца, чем у нас!

13

Все люди родятся на земле, всех она носит и кормит, всякий по ней выбирает себе дорогу по сердцу-разуму, а другие торят тропы новые, но кто родился в борозде или у снопа, кто с первым вдохом принял в себя аромат весенней пашни, почувствовал опоясанную тяжесть снопов в суслоне, — того зовет к себе земля с дальних путей-перекрестков, где он мыкался у людей на глазах, у смерти в зубах.

Некогда отдыхать отцу: пашня зерен просит.

Заходила в земле сила, поднимается ее живой ток, пробивается сквозь старье всякой травинкой-хворостинкой. Уже в зеленом пуху береза, а развернется лист в копейку, — попробуй посей-ка: ни толку, ни проку. Соломой запасешься, а над сусеком наревешься.

Наша пашня на дальних Журавлишках. На пологих склонах разлеглись широкие поляны, березовый лес толпится возле них и сходит гуськом к маленькой речке Юдихе, а она петляет ручейком, прячется среди сухих дудок. Откроет чистый глазок-омуток и юркнет под коряжник.

Мы с отцом сеем на пашне. Удобно сижу в седле на смирном

Соловке, бороню загон, помахиваю короткой плеточкой. Чтобы она не падала из рук, отец повесил мне ее через плечо на петлю. Сейчас я сильно похож на кавалериста.

Хорошо на коне под весенним небом! Плавно проходят надо мной на вытянутых крыльях журавли, опускаются на прогретую поляну и трубят гимн весне. Кто пашет, а журавль пляшет: знает дотошная птица, что родится пшеница!

Земля струит марево… Белые куропатки в стремительном полете перестреливают вспаханные полосы, падают на полянки и хохочут. Сверху поле заливает песня, сыплется, как зерно из плицы[29], будто маленькая птичка торопится засеять поле песней. До слез в глазах смотрю вверх, разыскивая невидимого певца. Хочется подставить шапку, чтоб наполнилась до краев звонким бисером трелей.

Отец шагает по перевернутым пластам, берет полную горсть текучего зерна из мешка, привязанного на опояску через плечо и, широко размахнувшись, пускает с ладони желтый пшеничный веер. Мелькнет на миг летящая сетка зерен и припадет к земле. Отец остановится, поерошит волосы на открытой голове, поправит гимнастерку с темными полосками на плечах и опять выбрасывает полную ладонь, а земля просит: «Дай еще!»

Тюкнул топориком отец по белому стволу березы, пристроил соломинку, и в ведро потек светлыми каплями сладкий сок. Вечером у стана — нехитрого сооружения из палок, веток и дерна — кипятим из березовки чай, варим кашу. Дым от костра нехотя кружится, обвисает на ветках деревьев, сползает в ложбинку, укладывается там до утра. Меркнет земля, только небо светло. С востока идет сумрак, высоко подняв бледную звезду.

Если тебе приходилось после трудового дня отведать заветренный кусок хлеба и ложку каши, припахивающую дымком, выпить жестяную кружку горячего чая, макнуть в соль на тряпочке испеченную в костре картошку, — можешь себе представить ужин наедине с природой! Вот и деревья придвинулись к костру, хочется и им подать ложку.

Взволнованный впечатлениями дня, долго не могу уснуть. Лежу в стану на соломе, под шубой, смотрю и слушаю.

Догорел костер, задремали угли, смежив пепельные веки. Только иногда заходит в них жар, блеснет на мгновение, как взбрасывает глаза засыпающий ребенок. У телеги стоит Соловко, поднимает голову, слушает ночь, а может, смотрит на звезды… Какой-то жук задел басовую струну над станом и слушает ее долго-долго… Ручей тоже не спит. Он будет до утра рассказывать в логу гусинкам да медункам про радость весны.

Отец уже спит, и я с трудом понимаю, что это Соловко

хрумкает у телеги.

Как скоро пришло утро. Отца уже нет. Где-то за станом постукивает топор. Горит костер, дымок пробирается в стан, заползает ко мне под шубу, щекочет в носу.

— Вставай, сынок, время, — будит меня отец, заглядывая в стан. — Смотри, куда мыши утащили твою плеть! Куропатки уже давно хохочут над тобой, засоней.

Все свежо, молодо, далеко видно… Пьем чай, едим холодные шаньги, я закусываю сочной саранкой[30]. Отец смотрит на восход. Там, где-то совсем близко, затаилось солнце, не выходит, ждет чего-то.

— Сейчас журавль позовет его, — говорит с улыбкой отец.

Стоило солнышку несмело показать огненный косячок, как совсем близко протрубил журавль, далеко ответил другой, а там третий… Всплыло солнце, молодое, сочное! Кинулись тени по низинам да завалам. Трепещущей точкой тонет в небе маленькая птичка с недопетой песней.

14

Не помню, откуда у меня появилось желание повисеть в воздухе. То ли маленький паучок, качающийся на радужной паутинке, то ли кобчик, летящий полем и вдруг повисший над свежей бороздой, или рассказы отца о «еропланах» зародили эту охоту. Диковинный предмет, впервые увиденный, толкнул меня на затею.

У бабушки совсем износился запон[31]. Да и то сказать, на век одна кожа дается, а к сроку и она коробится. Бабушка решила сходить в лавку приглядеть ситчишку и прихватила меня.

Я не был в лавке, такого богатства не видывал: разноцветные свертки товаров, большущие гвозди с рубчатыми головками, блестящие глиняные пикульки, похожие на птичку, с дырочкой в хвосте. В лавке уместилось множество запахов, каких не было у нас в избе и ограде.

День стоял жаркий, потом небо нахмурилось к дождю, и крупные капли начали пробивать дырочки в пыли. Дорога стала похожа на большую терку. В это время в лавку зашла попадья, держа над головой черный круг на палочке. Вдруг он сжурился, белые ребра опали, и круг повис на руке у попадьи, как спящая летучая мышь.

По дороге домой я допытывался у бабушки:

— Что им делают?

— Всякому свой предел записан. Ей зонтик, чтоб сряд не

мочить, а нам он без надобности. Нас дождик помочит, ветер похлопочет: и дождинку и слезинку пообдует, высушит.

А мне бы зонтик надо. Дома, устроившись за амбаром, взялся за дело. К тынине прикрепил перекладины, к концам их веревочкой привязал лоскут старого половика и стал выбирать место для прыжка. Умостился наверху лестницы, приставленной к стене избы, поднял над головой самоделку и прыгнул.

В воздухе не повисел и встать не мог: ступню прожигала боль. Уполз за амбар, решил не показываться домой до вечера, но нога ныла и опухала. Пришлось показаться. «Изобретение» мое было обнаружено, бабушка ругала меня:

— Чтоб ты треснул, прости меня грешную! Углядел у попадьи зонт, всю дорогу допытывался и сделал рогулю. Ничего из тебя не выйдет, головушко! Отломишь башку или на суку повесишься!

Опять позвали Митревну. Она наговорила жичку[32], навязала на ней узелков, обмотала ногу, а бабушка попрыскала на меня святой водой.

— Ты, милый сын, сперва научись хорошо ходить по земле, — прогудела ласково Митревна, — а уж после глаза вздирай. На земле ямок да кочек несчетно. Одну обойдешь, другую перескочишь, — глаз какой вострый надо.

— Другие дети как дети, а этот, — сокрушалась бабушка, — везде точит нос, — истовлетельный[33] комар!

— У ребятишек не без шишек, а вострый глаз и почуткое ухо — не лишни. Иной человек наступит на свое счастье, да не разглядит, за колоду почтет.

Мало понимаю, что говорит Митревна, но мне немного легче, может, оттого, что ее слова, как сонные капли, что пьет бабушка, когда у ней болит голова.

— Как пройдет нога, приходи к нам, — наказывает она. — Поучу тебя делу. Наш срок пройдет, а после, поди, долго будут жить люди. Не все нести в землю, им тоже оставить надо.

Ушла. Меня больше не ругали.

Зажила нога — пошли дела! Из сырых картошек сделали с братом жнейку, вместо грабель воткнули куриные перья и жнем на крыльце. Ладно работала машина, а потом испортилась, и мы ее съели.

А тут у Киньки зашатался зуб, под ним прорезался новый. Надо бы вырвать, да страшно. Кинькина бабушка позвала меня, велела постоять за дверью. Она уговорила Киньку привязать за зуб ниточку и полечить у скобки. Когда я услышал слова: «Старый-матерый, дай местечко, а сам — за печку», дернул дверь. Кинька не успел охнуть, стоял с раскрытым ртом, а на нитке болтался его зуб.

Совсем извелась от лихоманки тетка Наталья. Всякое снадобье делала, а час придет — опять трясет. Как-то послали меня в согру[34] за лягушкой. Я побаивался: с них на руки переходят бородавки, но отыскал в кочках одну толстуху, зажал в согнутый прут, принес домой. К своему часу тетку начало морозить. Больную накрыли тремя шубами, а сверху положили бумажный кулечек. Бумажка зашуршала, развернулась, тетка подняла глаза, в страхе взвизгнула, скорчилась, а лягушка шмякнулась на пол. С тех пор отстала от бабы лихоманка.

Забегал к Митревне, как наказывала. Она научила меня «выговаривать» зубную боль. Ошв наговора было немного, выучил их скоро, и Митревна подивилась:

— Липучая память, чисто воск: как пало — так запало! Действенный наговор у тебя будет. Грамотешку бы тебе. В книгах, должно, прописано, какую боль чем изводить. Может, фершал из тебя какой выйдет. Грамотному — свет в окно. Это мы пеньки — где расплодились, там и сгнили. Теперь отец дома — научит.

Она дала мне завернутый в тряпочку «едкий камень» от зубов. Скоро пошел слух по краю, стали приходить за наговорам. Спрятавшись за дверью, шептал на камень, велел прикладывать. Бабушка была рада, что в избе завелся «лекарь». Отцу это не понравилось.

— Не с этого начала надо заходить. Через книжку дорожки-то торятся. Не от всякой беды словом отпихнешься. На войне сколько солдат носили заговорные слова, а пуля свою дорогу знает — клюет, не разбирает. И я заговор таскал, да под газ попал. Немец больше знал — крепче и колошматил. Умом брал. Поп вон сколько святых слов знает, кадилом на солдат махает, а идет солдат в наступление и помирает. Богу не под силу разнять людей во вселенской драке. Полосуются, как собаки, хватают чужую землю, а мне зачем она? Свою бы прибрать. Книжка растолкует, что к чему? С нее начинать надо.

Бабушка впервые слышит такое про бога, но молчит. Нехорошо говорит сын, — должно, от газа в уме повредился.

Перед страдой отец привез из города себе газету, а нам сайку, колбасу, азбуку и балалайку. Базарского хлеба я не держал в руках, кроме просвирки на пасху. Колбаса не понравилась, а балалайка увлекла. Она была желтая, ребристая, как спелая тыква, а по ее ладам бежали три струны светлыми ручейками. Тронешь их — из дырочки в кузове запоет жалобно, мягко. В азбуке картинок больше, чем в сундуке. Отец толкует мне их содержание.

— Насматривайся да за дело. Осилишь буквы — станем слова из них складывать. Вот тебе первый урок: заучи от «а» до «ды». На

первую пишется Анна — твоя мать, на вторую и третью — бабушка Варвара. Эта совсем схожа с гусем — так и пишется. Печку затопят — пойдет дым. Вот эта буква «ды» и есть. Теперь своди на речку Соловка.

Скопится же столько радости в один день, хоть отчерпывай! Едем с братом верхом, жуем сайку, я повторяю свой урок, поглядывая на печные трубы. Когда возвращаемся с реки, к нам из избы выходит женщина. Хочется сказать ей про нашу радость, но она заговорила первой:

— Ребятишки, вас двое едут?

— Двое.

— Пусть будет с вами третьей моя могильная кость.

Померкла радость. Я сильно напугался. Арсентий совсем замучился с ней — хоть руку отрубай. Пристряла такая беда на живого, надулась с куриное яйцо. Теперь перейдет на нас. Домой прибыли со слезами.

— Чего разнюнились? — спросил отец. — Упали?

— Тетка отдала нам могильную кость.

Отец посмеялся, сказал, что отнесет ее обратно. Мы успокоились.

15

Тут как-то по теплу еще — да уж отмолотился народ — сделалось у Филимона рукобитие. Богатенько живет мужик, счет себе особый ведет. Ломался — куда тебе, — не перешагнешь, да уговорил его дед Василий. Положили заклад-несенье немаленькое, и завелась свадьба. Вечерком к жениху пришли друзья-товарищи, почистили хомуты, натерли медяшки наборной сбруи. У Филимона подружки водили невесту в баню — завтра свадьба.

Свадьбу справить — не навоз в речку сплавить: дурной глаз в этом деле случается. Оттого дед Василий позвал дружить надежного человека. Во многих деревнях провел свадьбы «знаткой» дружко, по прозванию Куричий Бог. Хорошо сводит он молодых, живут полюбовно. Пусть правит делом да столы отряжает.

Куричий Бог в нашу ограду заехал утром. Приземистый, спокойный, только глаза шмыгают, как мыши. Пострелял он глазами по ограде, сходил под навес, в пригон. Распорядился натянуть веревку для лошадей да повыше, чтоб курица не перелетела, а то беды не оберешься. После сели с полудружьем на коней и укатили проведать про невесту.

У Филимона невесте уж косу расплетали. Она, припав лицом к ладоням, жаловалась отцу, матери, подружкам:

Не несут-то меня резвы ноженьки
До родимых моих — отца, маменьки.
Чем наскучила, чем прогневала,
Не своя — чужа стала в горнице?

Разлюбезные вы подруженьки.
Отходила я по беседушкам!
Как настанет весна, лето красное,—
Соберитесь вы в кучку-местечко.
Вы возьмитесь-ка рука за руку
Да ступайте-пойдите в чисто полюшко,
Поглядите-приметьте мою девью красоту:
Не сидит ли она под березонькой?
Вы возьмите ее с собой под руки,
Приведите, покажите отцу с матерью.

С добрым знаком вернулся от невесты дружко Куричий Бог. Невеста ему полотенце через плечо повесила, наказала отвезти жениху согласье-привет, чтоб готовил карету да со звоном дугу. Тронулся из ограды поезд со звонами, повезли жениха сваха, бояре да тысяцкий. Вводит дружко жениха в невестин дом, обметает порог платком от дурного глаза, худого наговора. У него язык верченый-крученый, на всякое слово наученный: рюмкой обнесет — словом разумным или шуткой веселой порадует.

Батюшка с матушкой,
Пойдите к нам поближе,
Поклонимся вам пониже.
Наши ножки с подходом,
Наши ручки с подносом,
А язык с приговором.
Распечатайте сахарные уста,
Выпейте по рюмочке винца,
Поглядите жениха-молодца.

Чарку полную от сердца наливаем,
По достатку рублем-серебром прикрываем.

С винцом при уме проживешь, не умрешь,
А как нет ума, — его в рюмке не займешь!

У Филимона дом под трамбовку народом забит. Вертучие глаза надо дружке, чтоб всех приметить, не забыть поприветить.

Эй вы, кутны-палатны,
Малые ребятки,
Красненьки носочки,
Зелены сопелечки!
Рюмочку от нас примите,
В путь невесту отпустите.

Ласкового слова да подарков заждались невестины подружки, запели:

У нас друженька был богатый,
На подарочки тароватый.
Он с гривны на гривну ступает,
А вороты рублем подпирает.
Дружка-друженька, не скупися,
Ты от нас, девиц, откупися.
А мы сладким-то скуса не едали,
Винца красного не пивали.

Дари, дружка, давай выкуп по совести! Тряхни мошной, прозвени казной, и споют тебе:

Дай тебе, господи,
Конопли и поскони,
Еще сына-сокола,
Дочь боярыню.

Худо подаришь — конфуз и срамота на твою голову: насулят, ославят:

Дай тебе, господи,
Перепрелой поскони,
Целый ящик мышей,
Полный двор говяшей!

Не промахнет дружка Куричий Бог! Кого подарит, кого угостит, кому присказульку скажет, где побасенкой губы помажет — на присловья, куда там, какой спец, везде вертится, как бес!

Тронулся из Филимоновой ограды поезд к венцу, а дружка впереди на коне выезжает, каждый перекресток по пути плетью стегает, про себя наговаривает: порчу убирает. Укатил молодых к венцу, полудружью наказывает:

— К жениху домой качай вот этой дорогой: я поеду, излажу ее. Смотри, накажи в переулках, перекрестках поторапливаться.

В нашей ограде ждут молодых от венца. Уже слышны колокольчики — близко катит свадебный поезд. Открываются ворота, но не так уж легко молодым заехать в свою ограду. Миг — и улица перегорожена веревкой. И опять угощает дружка, упрашивает:

От нас уваженье примите,
Медом сытным не поморгуйте,
Свою крепость-оборону отымите,
Наш поезд хрещеный не держите,
Молодых в свою дверь допустите.

Вошли молодые в дом, а дружка и тут поспел с языком:

Наши кони суровые в хомутах пришли,
У ворот прошли не споткнулися,
В переулки-свороты не езживали,
На путях-росстанях не мешкали,
На ограду свою воротилися,—
Сами пришли и детей привезли.

— Батюшка, матушка, на любовь ваши дети сами натокались, а мы им укреп в жизни сделали. Послави их миром да погуляем, на долгую жизнь счастья оставим. Ладно ли вышло, так ли свели?

В переднем углу завесили молодую шалью. Свахи надевают на голову невесты шашмуру, а на улице и в избе изготовились стрелки, уставив стволы ружей под потолок. Опустили бояре шаль, открылась молодая в новом уборе, и по знаку тысяцкого грянули холостые выстрелы. Прибита шашмура, на век приколочена… Живи, молодая, в новой семье, не супорствуй воле родительской да мужнего слова не переступи.

Сводил меня отец как-то на представление. Давно поговаривал он, что в школе собираются мужики, а учитель задумал с ними разыграть спектакль.

Тесно было в тот вечер в здании старой школы. Маленькая сцена завешана палаткой, за ней кто-то суетится, хвалит усы и бороду.

Началось представление. Любо было смотреть, как ходили, говорили и плакали незнакомые мне люди, а на печке старый дед говорил молодым голосом: «Спустить бы вам штаны да крапивой, чтоб не лезли в такое дело…»

И обстановка и люди — все, как в нашей деревне, и я не смотрел, а жил. Как скоро задернули палатку, закрыли интересную жизнь!.. Народ не уходил, сцена снова распахнулась. Там кучкой стояли несколько человек без усов и бород. Черноволосый человек махнул рукой, — мужики запели. Тонкий голос хорошо выводил песню на конце, будто шагал по низким голосам. Попели мужики и ушли за печку, а черноволосый вынес незнакомый мне предмет.

— Тятя, это что?

— Скрыпка, — ответил отец. — Это учитель, сейчас заиграет. Слушай.

Приложился учитель к скрипке, кинул белую палочку на струны… Запела она тоненько, переливчато, как иволга в лесу. Движется, взлетает рука, бросает на людей какие-то светлые лучи. Они летят ко мне, касаются лица, заполняют уши, поет вся голова.

По дороге домой спрашиваю отца:

— Кто живет тут?

— Никто тут не живет, — улыбается отец. — Сюда приходят учиться ребятишки, а нынче и ты пойдешь.

— А те, с бородами, где они? Они тоже тут не живут?

— Это наши деревенские мужики. Они спектакль разыграли, бороды сняли и домой ушли.

Как жалко, что не живут, а то бы и завтра сюда же…

Дома я еще слышу скрипку, и хочется сделать ее самому. Посидел с ножом над досочкой, натянул тонкие проволочки, к согнутому прутику привязал волос, надерганный у Соловка. День теплый. Сижу в пригоне на соломе, играю. Поет моя скрипочка, да только тихо и жалобно, а ветерок сдувает песенку со струн, уносит. Приклоняю ухо, чтоб услышать шуршащий звук.

Пришел в воскресенье отец пьяненький. Никогда не видел его в таком блаженном настроении.

— Где прихватил? — спросила мать.

— Там, — махнул он куда-то рукой. — Гляди, что принес! Вот

тебе господская сковородка. Жарь пампушки!

Невиданная сковородка была вся в ямочках.

— Откуда у тебя деньги?

— На трудовые купил!

— Не хлопай, у тебя их нынче не было!

Отец сознался и даже похвалился, что ему повезло в карточной игре. Мать обмякла, в голосе проступили тревога, слезы. Она поставила обнову на порог, прислонилась спиной к стене.

— Уноси, куда хочешь… Она на поганые деньги куплена. Сегодня выиграл, завтра проиграешь, понесешь из дому… Кто проиграл, копейку-то где взял? У своих детей отнял. И ты от него понесешь, — указала она на меня.

Я притих, ожидая ссоры. Приходилось видеть, как страшно дерутся пьяные, а дети, бессильные помочь, истошно кричат, видя, как отец истязает мать, тешится в пьяном угаре страшным стервятникам. Неужели и отец?.. Он улыбается, манит к себе пальцем. Иду и боюсь: не затаилась ли беда в улыбающихся глазах, не спряталась ли хитрость в корявинках родного лица?

— Не бойся, — говорит он, обнимает тяжелой рукой. — Гляди, как мать отстропуляла меня! Ей бы фельдфебелем быть, только тот меньше языком, — больше кулаком. Унеси, сынок, эту чертову сковородку, утопи в речке. Беги сейчас, а завтра жалко будет.

Я прибежал со сковородкой к речке и булькнул ее в омут. Сиди там со своими ямочками!

Не играл потом отец, а в свободные вечера стал уходить куда-то, возвращался поздно и на вопрос матери отвечал:

— Газеткой ходил поинтересоваться. Дела получаются нескладные: Колчак где-то под боком. Не пришлось бы опять бросать пашню. Положи в мешок припас на случай, может, придется отлучиться.

Мать встревожилась. Отец положил что-то в тряпочке на божницу.

— Далеко была война, с чужой державой мир не брал, а теперь со своими разбираться приходится. С ребятишками, чуть что, — беги прячься, а мне скажут.

И как-то утром отца не оказалось дома. На мой вопрос мать ответила:

— Соловко захромал, отец увел к коновалу. Играйте за баней, на улицу не бегайте. Там бандиты с ружьем и плетью.

Целый день за баней играть надоест. Решили мы с братом посмотреть бандитов. Устроились около амбара, под который можно и спрятаться. Бандитов долго не было. Увлеклись игрой.

Внезапный конский топот заставил нас онеметь от страха. В улицу въехало трое вооруженных. Бандиты! Они заметили нас, мы юркнули под амбар.

— Выходи!

Всадники были уже рядом, а мы уползали под амбар.

— Выходи!

Какой страшный, настойчивый голос. Он достает нас под низкими стойками амбара!

— Ребятишки, вылазьте.

Это уже другой, знакомый голос. Выползаем. За оградой три конника и ружье, направленное на нас.

— Ваше благородие, это тут они… А я думаю, кто меня зачем гаркает. Давненько тут щекочут да роются…

— Никто не проходил здесь?

— Не слышно было, не видел, не сказывали.

Конники повернули назад, Тереха заругался, погрозил нам:

— Не гомозитесь под ногами: а то крапивой. Попадешь с вами в костомялку. Марш домой, шантрапа!

В избе матери не было. Она искала нас за баней по огородам.

Тревожно стало в деревне. Колчаковцы насильно забирали людей, куда-то угоняли. Скоро пошли слухи по деревне, что кое-кто вернулся тайно, но нигде не показывается. Их семьи жили в постоянном страхе, боясь доноса. Заскакивали карательные конные группы, бесчинствовали, пороли. Женщины с детьми прятались по огородам, парни спасались в согре.

Только по первым снегам пришли к нам отряды партизан с Чумыша. Конные группы замаячили на белой горе. Народ бросился по домам, по пригонам. Чьи же пожаловали? Мать затолкала нас в подполье, где страшнее стало от темноты. По всей улице пошел гул от множества копыт, а в избу к нам нашло полным-полно людей. Над головой со скрипом прогибаются половицы, и кажется, что изба от страха приседает.

— Хозяин, принимай постой! Мы посидим, а ты постой.

— Нет хозяина, — растерянно лепечет мать.

— К белякам подался али помер? Нет живого — за упокой споем, а у Колчака найдем — голову оторвем!

— А вы какие будете?

— Свои мы, совсем тутошные.

— Не разберем мы, где свои, где наши, кто за кого восстает, кто кого бьет.

— Это так: пока в загорбок не накладут, — не расчухаешь, кому кориться, кому кланяться. Вот отделенный придет, у него записано, кому мы кем доводимся.

— Ты, Матвей, не пужай бабенку-то, не пужай! Слова плети,

да и дело скажи. Тебе в писаря бы податься, с руки: где бумагой не изведешь, языком оплетешь.

— Партизаны мы, хозяйка, свои. Не дают беляки в деревне ходу нашей власти. Колчаковцы ставят свои порядки, а мы им смажем пятки. А теперь так бы: картошки наварить нам поядреньше да самовар с паром, чтоб помнили нас недаром.

Мать затопила печку и только тогда вспомнила про нас.

— Господи, у меня ребятишки-то в подполье!

Она открыла западню, позвала нас. В избе задвигались, к нам просыпался смех.

— Мужик твой не там ли? Накажи ему попутно вынести картошки!

Мы шмыгнули за печку. Матвей оказался рослым бородатым мужиком и балагуром.

— Что глазами стреляете? — сказал он, подойдя к нам. — С хомяками под полом воюете? Завтра к нам. Посажу на коня, дам ружье, отца искать поедем.

Сильный Матвей посмотрел на нас по-доброму, с улыбкой, как смотрят на испуганных, притихших котят.

— У меня дома вот такие же два таракана… Насиделись по погребам. Жену за меня исполосовали шомполами… Накопилось много злости у народа — расплачиваться пора. Поправим жизнь — не станем прятаться.

17

Отец вернулся не скоро. В ограду въехал бородатый человек на телеге. Мы не сразу признали его. Первые дни он скрывался на пашне, а потом ушел к партизанам на Чумыш. Простуда свалила его далеко от дома. Отлежался в чужой избе, выходили добрые люди, собрали домой.

Теперь в натопленной бане хлещет он веником длинные худые ноги, трет больную грудь, вдыхает с хрипом банный жар, кашляет с захлебом, тощая грудь скрипит, как мех в кузнице. Разомлел от жара, слабое тело распласталось на полке. Под низким черным потолком бани — он, большой и беспомощный. Мне жалко его, притихшего, словно расплющенного камнем.

Не думал, что отец может быть слабым, хотя он и не был физически сильным. Это оказалось для меня неожиданным открытием. Малая грамота пробудила в нем любознательность, но не дала крыльев. Он и по земле ходил как-то по-особому: с приглядкой к живущему и растущему. Знал, когда и на что клюет рыба, находил целебные травы, высмотрел в согре дикий лук,

который мать засаливала, когда трудно было с едой.

Еда, еда… Много хлопот было с ней. Случалось, что семейный разговор на эту тему превращался в грустное раздумье.

— Почему это люди так тяжело бьются над пропитанием и нет времени на другое дело? Случится сытая пора — сочинят веселье, поистратятся в пьяном угаре, а потом опять начинают хлопотать об еде. Ходят, как кони по проторенной дорожке по кругу, а своротить не могут. Один радуется, другой горюет. Придет радость — чужому горю посочувствуешь, не от сердца, а от своей беды не приметишь счастья у других.

От этих невеселых дум отец отдыхал в природе. Он умел подсмотреть красивое в пожухлой осенней траве, одухотворить одинокую былинку, качающуюся на ветру, пожалеть о ее краткой жизни. Оттого у него каждая заря горела отменно, и мог грустить серый камень. Отец был жизнелюбцем и в трудные минуты говаривал: «Речка катится-бежит, человеку жить велит».

Я помылся и начал надевать на себя крест. Отец поднялся, нагнулся надо мной с полка, как большой вопросительный знак.

— Сними это, — показал он на крест, взялся за гайтан распаренной рукой. — Вырастешь, успеешь поносить на шее всякой беды, кроме креста.

Мне кажется, что отец делает что-то страшное, забрасывая крест за черную каменку.

— Бог нам не советчик. Твой дед Иван ходил к нему за помощью к мощам, да не добыл ее. Совет да правду надо искать в другом месте.

Выжила болезнь из слабого тела отца его светлый облик и поселила злобу темную, как черный потолок бани. Щупаю пустое место на груди, гляжу на жаркую каменку, на отца. В его слабом теле сработала какая-то сильная пружина, согнула пополам.

18

Брат заболел от испуга, перенесенного в подполье. Меня послали к крестной матери попросить меду для больного. Я охотно ходил в эту бездетную семью. Лелька встречала сдержанно, но привечала, дарила сухую звонкую маковку на прощание. Сейчас у нее сидела какая-то женщина. Мой приход оборвал разговор. На просьбу Лелька хмыкнула, посмотрела на меня чужими глазами.

— Мед на воротах не висит, его добывают. Отцу-то не бегать бы с товарищами по деревням, а припасать. Ура прокричал, а теперь ребятишек побираться послал.

Я не знал, что мне делать. Чашка в руках стала скользкой и ненужной. Трудно стоять под тяжелым взглядом. Лелька положила немного в чашку, я перешагнул высокий порог, а в притвор двери проскочили страшные слова:

— Плодится нищета, как черва на капусте, мутит народ. Поприрезать бы эту голытьбу, голоштанников поубавить!

Не велика чашка, и меду-то там кусочек, пропитанный ненавистью к отцу, к людям. Оттого-то трудно нести ее домой.

Взволнованно живет деревня. Много новостей, свежих мыслей принесли с войны солдаты, партизаны, окончившие боевые походы. Жизнь повернулась к людям острой гранью. Одни рассматривают ее со страхом, другие — с ненавистью, третьи — с пристальным любопытством. Размежевалась деревня, выпрямились кривые улочки, сразу стало хорошо видно, кто где живет.

В нашей семье жизнь тоже надтреснула.

Зимний вечер. Читаю сказку про слепого старика. Его не пускают за общий стол, кормят из лохани. Бабушка мается ногами на печке, мать чинит рубахи, отец поправляет хомут. Сказка кончена. Все заняты своим делом, молчат. Отец скрипит гужами, мать жвыкает ниткой, бабушка вздохнет, повернется и застонет. Но взрослые за делами не безучастны. Они начинают толковать, куда клонит слово: для услады или для ума оно составлено.

— Слово от сердца, — говорит мать, — вроде мягкой тряпочки к больному месту прикладывается. Скажется оно, — хоть и больно, а все легче как-то.

— В те годы, — отзывается с печки бабушка, — батюшка в церкви проповедовал — пронимало! Который народ плакал.

— На войне у нас ротный начетисто говорил. Сыплет в тебя словами бесперечь, успевай отмахиваться. За веру, царя, отечество звал, а слова к солдату не льнули. Защуряешься, будто от пыли, как кто тебе в глаза горсть мякины пульнул. А был рядовой башковитый до того, — тот про царя не поминал, больше про нашу жизнь да зряшную смерть толковал. Слов не много, а все рядком, к делу. Нарисует тебе картину, — хоть на ротного со штыком. Сколько солдат он тогда словом-то разворошил! Сильная штука — слово. Один сорит им в глаза, другой — бьет наповал. Бережно со словом обходиться надо: замусорить можно. Книга с решетом схожа: сор отойдет, а зерно к зерну останется.

Слушал отца, и тянула меня книжка, открывая живую жилку слова. Он отставил хомут к косяку двери, поразмялся по избе, стал перед балалайкой на стене. Тронул струны, слушает.

— Маленькая вещица, для забавы сделана, — думает вслух

отец, — а дай ты ее в руки хорошему игроку, — найдет он такое…

Балалайка у отца на коленях, пальцы ищут песню, а она таится в звонком кузовке, только пробуди и послушай.

Далеко в стране Иркутской,
Между гор крутых и скал,
Обнесен стеной высокой
Александровский централ.

Рассказывают три струны про узников, как человек человека замуровывает в камни. Гаснет песня-раздумье… Отец смотрит на лады: есть же тут другая, веселая!

И шумит и гудит,
Мелкий дождик идет.
А кто меня, молодую,
Кто до дому доведет?

Мать бросает рубаху, выхватывает меня из-за стола за руку.

— Песня-то какая! Мужика на круг надо, чтобы музыка не пропадала!

Я не умею плясать, стучу ногами в пол, как молотком по гвоздю, а мать ходит вокруг меня на носках, руки франтовато на боках, обутки частым шепотком выговаривают слова песни. Хомут у порога разбросил от удивления гужи, как руки, — вот-вот хлопнет в ладоши и пойдет по кругу.

— Анна, что это тебя подхватило? — строго спрашивает бабушка. — К чему вертеться? Вечерки прошли.

— Не могу, мамынька, усидеть, когда весело играют: вся музыка в ноги опускается, — виновато отвечает мать, берясь за рубахи.

— Не знаю, как жить будете. Все у вас люльки-присказульки под бандурку заводятся. Пора уже остепениться. Время — пост, пора про бога подумать.

Тренькнула балалайка, закачалась на гвозде. Отец выпрямился под потолок, повернул голову к печной занавеске.

— Про бога вспоминать есть кому, а о жизни я думаю, — сказал он сдержанно. Вспыхнувшее волнение заплескалось в глазах. — Думаю о ней на пашне, в пригоне, возле хомута. Пошто люди долго у ней в запряже ходят? Кто нас охомутал, а про Егора Комакина, Тереху да Зыкова забыл? Одни в оглоблях шагают, другие плеткой стегают. Умнее они других или ловчее?

— У кого нет ума, — тому на бок сума, — твердо

выговаривает за занавеской бабушка. — Бога забывать стали, — вот жизнь и путается, порядок разлаживается. Народ теперь пошел, что грех подумать, срам сказать.

— А я так вывожу, что у бога память короткая. Ты, мать, прожила в соседях у бога, худым словом его не обесславила, а дал же он тебе меня, непутевого. За какие грехи?

— Мать не чтишь — бога не тронь! Он тебе дороги не переехал.

— По нашим дорогам ему тряско, оттого он нас обегает.

Отец поглощен мыслями, не шевелится, а в голове у него кипит.

— Живем рядом, а в жизни каждый карабкается в одиночку. Кто выплыл — рад, отдувается, кто захлебнулся — на дне мается.

— Уж не собираешься ли над жизнью-то верховодить, по своему норову повернуть?

— Одному ладить надсадно, сообща надо.

Замолчал, ерошит волосы. Ждет, каким словом стрельнет из-за занавески бабушка. Мне трудно понять серьезность происходящего, но по настороженным глазам матери, по неподвижной печной занавеске вижу, что неладное в семье началось.

— Мужики задумали коммуну, — растягивает слово отец, — так я туда… Ты, Анна, как?.. Как скажешь?

У матери с колен брякнули ножницы, бабушка открыла занавеску, Отец глядел на мать, ждал поддержки, чтоб сделать решительный шаг.

— Страшно выговорить, — отвечает мать, глядя на печку.

— Поначалу всякое дело несвычно. Боязно с торной тропки шагнуть в траву босой ногой: вдруг какая гадина шваркнет! Страшно, когда один, одного страх спятит, а нас будет много. Время клонит к тому, чтоб запрячь жизнь в корень.

Отец рассказывает, что уже собираются мужики у Егора Блинова, Василия Титова, толкуют о коммуне, обговаривают устав жизни, приглашают послушать. Облюбована земля, но общество супорствует. Для такого дела оттягают! Соберем все хозяйство в кучу, сообща посеем, уберем. Машиной пахать будем и молотить! Жить будет легче. Распрямится человек, оторвется от своей борозды, поглядит на мир, — и сил у него прибавится!

— Сорить хозяйство собрался? Отцовское посатарить захотел? Послал нам бог хозяина в семью! Отдай хозяйство в чужие руки, а потом жди-выглядывай. Спроси нищего, сладко ли из чужих рук кормиться? К чему фордыбачиться? Не много у нас нажитку, зато кусок непрошеный. Стабуниться не диво. Только в табуне под бока рогами ширяют. Живи, как заведено было, как

показано. Мотать хозяйство не дам, в коммуну не пойду!

Бабушка задернула занавеску и больше не говорила. Отец садится на лавку, смотрит в окно, а там ни звука, ни света…

— Проживем по писаному, не оставим тропок, — пойдут наши дети по старым вешкам… Сами буки боялись, их букой стращаем, ее же в надел оставим. Чем помянут они нас? Скажут: «Прожили слепыми червяками, — ни спеть, ни сказать про вас!» Выдолбят нам корыто и станут кормить, как слепого старика в сказке. Нельзя так! Анна, ты как?

— Куда иголка — туда и нитка. Не в обман, поди, народ собирается?

Отец встал, тренькнул по струнам, громко щелкнул по балалайке.

Теплый вечер мая. Обставила весна сельские улицы зелеными деревьями, застелила ограды густой муравой. Ходи по мягким коврикам, печатай следы, радуйся, как травка и ласкает и щекочет босую ногу! Отродила земля столько жизни! Бегает, суетится, летает и прыгает мир жучков и мушек, торопится в хлопотах прожить короткую жизнь. Выберется из земли молодой майский жук, расправит гармошку усов, поднимет крылья-паруса и поплывет в вечерней тишине, потянет виолончельную струну к куполам берез. Радость возрожденной жизни бьется в каждом уголке!

Мать с отцом ездят работать в коммуну, часто не ночуют дома из-за дальней дороги. Мы дома с хворой бабушкой. У нее совсем разладились ноги. Целыми днями она лежит в избе, молит о смерти. Мне не велено отлучаться. Играю возле раскрытого окна избы.

Незнакомая женщина прошла к нам, заговорила в избе с бабушкой:

— Ваши дома ли? Надо бы поберечься, Варвара, ребятишек на случай куда попрятать. Петровна Зубкова хозяйка утром подняла на крыльце записку, а в ней грозят, из коммуны велят уходить. Весь край у нас переполохался: ходит слух, что не нынче завтра коммунистов вырезать собираются.

Страх сжал в груди комочек сердца. Я невольно посмотрел в пустоту открытых ворот сушила, где у деда Митрия лежал на слегах выдолбленный им для себя гроб. Остро почувствовалась надвигающаяся беда. Не приехал отец ночевать домой, не послушал бабку, записался в коммуну… Куда теперь нам деваться?

Похолодело небо, от сушила медленно ползет на меня острым углом тень, низкое солнце далеко на горе зажгло красным пламенем окно в чьей-то избе. Рой майских жуков кружит в

вершине березы, а она не может от них отмахнуться, стоит беззащитная.

— Втесался в коммуну, — слышу бабушкин голос, — занес беду в дом! Сунул свою голову под топор, умник-разумник, достукался, окаянный человек! Пресвятая матерь, за какой грех наказала меня таким? Как не околел ты маленьким! Будь проклято гнездо, откуда ты, смутьян, поднялся!

Так никогда про отца она не говорила. Ее голос, как перетянутая струна, напряжен отчаянием, злобой. Прижимаюсь к стене, а через голову из окна летят слова, жгучими ссадинами, больные, как занозки под ногтями. Тревожно оставаться одному, а к бабушке идти не могу: с ней в избе страшно.

У ворот ограды стоит дед Василий, смотрит белыми глазами на заходящее солнце. Он положил руку мне на голову, шевелит пальцами, волосы потрескивают на макушке.

— Умаялось солнышко, сейчас уйдет. За день какую дорогу одолеть надо! Всем людям посветить, пригреть каждую травинку, мушкам да метлякам крылышки утром подсушить надо… Дивно дел у него!

Я не слышу, о чем он говорит. Смотрю на крыльцо нашей избы, с которого неуклюже на четвереньках спустилась бабушка и поползла к дяде Мануилу — брату отца. За ней следом движется тень от сушила. Раскрытое окно нашей избы смотрит пустой глазницей на потухающий закат.

— Дедушка, иди к нам ночевать, — прошу я, обхватив его руку на своей голове.

— Худо Варваре стало?

— Бабушка ушла от нас.

— Ах ты, какой грех случился, какой грех…

В сумеречном свете на западенке дед прикрыл нас полами фуфайки, прижал руками, и не так уж страшна теперь кажется пустая кровать бабушки, темнота под лавкой. Утихает тревога.

Добрый старик! Сам лишенный света, как ребенок, беспомощный, каким сильным ты был для нас в этот тревожный вечер, когда я впервые захлебнулся страхом, вдруг понял, что в светлом мире, кроме радости, живут горе, злоба, что отец может стать кому-то поперек пути.

Под слабой рукой старика чувствовали мы себя, как птенцы под крылом орла. Дед лучился добром и теплом, умел водить по неведомым тропам сказки, где жили славные короли, и не было у них иных дум, как только о крестьянине.

В славном царстве-государстве,
В дивной нашей стороне

Ехал парень-королевич
На серебряном коне.
Перед ним страна какая!
Погляди ее не раз,
Поспроси — она расскажет,
Править миром разум даст.

Иду за серебряным конем по узорным стежкам сказки. Открывается хорошая, большая земля, плещут речки волной в берега, ветер гладит ласковой ладонью хлебные полосы, а королевич привечает пахаря.

— Дедушка, зачем он поехал далеко?

— Видишь, какое дело… Без ума править не подходит как-то. Надо посмотреть, ладно ли мужику. Как он пашет и сеет, какой достаток в хозяйстве. Без досмотру все захиреет, каждому делу свой пригляд надлежит. Доведаться поехал королевич, как оно у крестьянина, с какой стороны бередит? У кого от счастья сердце млеет, у кого от горя в глазах темнеет. К мужику надо сердце прикладывать теплой стороной, потому он кормилец миру всему.

Замолчал дед Василий, над нами сгустился и обвис сумрак, за окном лучилась низкая яркая звезда.

— Время уж не рано: от западенки понесло. Ложитесь, я посижу до света. Спите, не бойтесь, я вас никому не отдам.

Печальную весть, что бабушка покинула нашу избу, мать с отцом встретили молча. Мать смотрела на отца, а он — в угол.

— Что теперь про нас с тобой судачить станут? — сказала мать. Отец продолжал молчать, а потом стукнул ладонью по столу, прошел по избе, сел и опять встал.

— Молва пойдет, от нее не убережешься. Она, как волна, несет добро и мусор. Анна, а если все, чего боимся — через колено, на половинки да на сторону! Не испугаешься, Анна?

Он отодвинул стол, стал перед божницей с опущенными руками, потом выбросил их к потолку, резким движением сгрудил в кучу три иконы, понес их к печке. Мать остановила отца перед шестком.

— Павел, может, на пятры[35] вынести? Не было бы худо…

— Худо? А когда нам было с ними хорошо? Мы родились под ними, при них нам в церкви имена дали — Павел, Анна, — своих детей с этими же свидетелями в купель макали… а не приметили они нас! Изладили себе пужало! Ребятишек букой пугаем, а сами себя — богом. Счастье привалит — бог помог, беда нагрянет — бог наказал. До каких пор просить: «Подай, господи»? Что ему нравится — не знаешь, как угодить — не догадаешься. Когда

дойдет до него наша молитва? А может, мы неладно молимся? Как узнать? Во все дела вмешивается, верховодит, доступа к нему ни с какой стороны нет.

— Свыклись с иконами. С пустым углом страшно будет.

— Сами люди придумали этот страх, опутали себя: головы не поднять, глаз не открыть. Вот и отхватывают нам головы, как в страду перепелкам серпом в полосе. Проживем, помрем, поставят нам на грудь размалеванную досочку как пропуск в рай. Явимся туда, а нам скажут: «Не сподобились, не домолились. Иди-ка ты, раб божий Павел, со своей Анной, покипи в смоле». Бог — это хитрая штука, и придумал его ловкий человек! На войне мы были слугами у царя. Догадался народ прибрать к месту этого хозяина. Не хочу в рабах ходить!

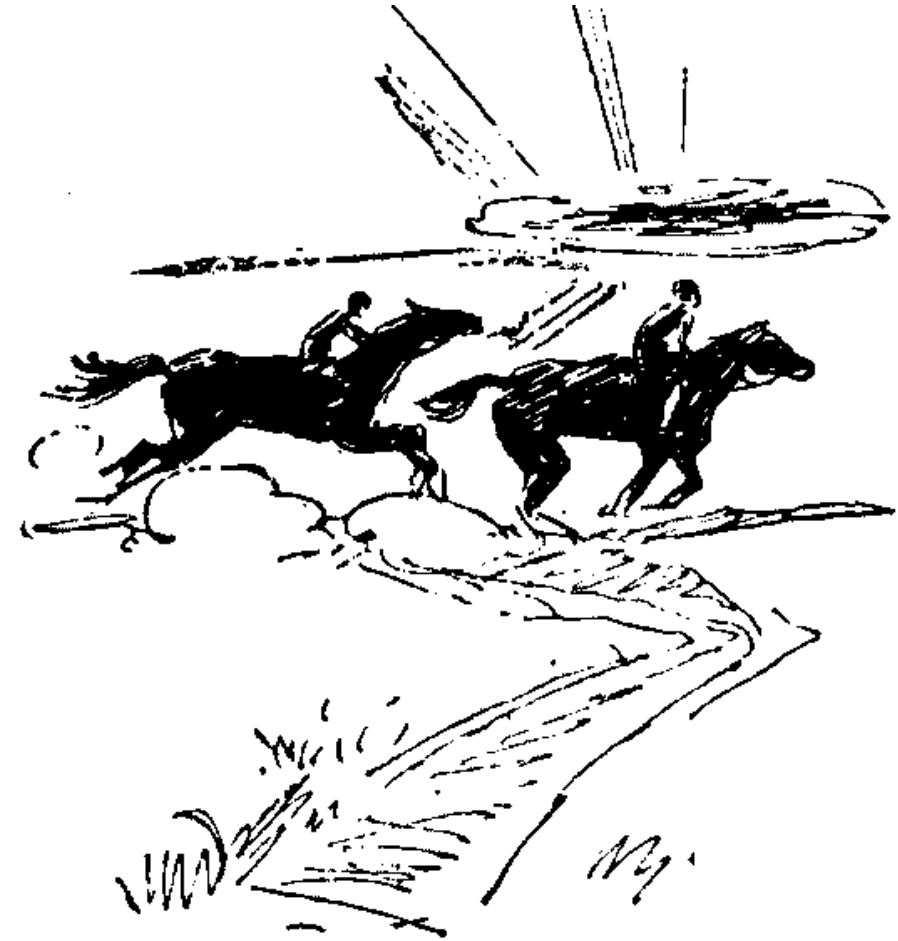
— А то бы вынести, прибрать, может… Боязно, — упрашивала мать.

— Боишься кары божьей? Беру грех на себя! Если он есть на небе, — не стерпит, поразит огненной стрелой!

Отец отстранил мать, бросил иконы в печь. Они с треском запылали. Мать опустилась на лавку, закрыла глаза. Я ждал громовой стрелы, втянул голову в плечи, но ее не было.

— Анна, открой глаза!

Отец вызывает в коммуну



ОТЕЦ ВЫЗЫВАЕТ В КОММУНУ

1

Не знаю, кто догадался дать коммуне поэтическое название «Майское утро»? Название это вмещало в себя новое и солнечное, как весенний побег на старых полях единоличной Журавлихи.

Первое мое знакомство с местностью, где основывалась коммуна, произошло в один из июльских дней, когда я, вытребованный отцом, подошел к высокому мысу. Темный слиток соснового борка врезан в синее небо, а по склону поддерживают его колонны белых стволов берез. Место это только начинало обживаться, потому все было свежим, буйным и благоухало.

Через заболоченный луг по еле угадываемой тропинке, где проходят редкие рыбаки, вышел я к тихой речке. Она вела неторопливую жизнь среди пышных камышей и кустарников, проглядывала оконцами омутков. На перекате — узком неглубоком месте — открылся шаткий переход из свежих кольев и жердей. Было жарко. Я уселся на переходе, опустил ноги в воду. Хотелось подольше посидеть здесь, посмотреть на интересную жизнь воды и берегов, но мать велела не болтаться в дороге: я нужен отцу, он вызывает меня в коммуну. Поплескал в лицо водой, сорвал белую лилию и пошел отыскивать отца в этом незнакомом зеленом мире.

По голосам людей, по стуку топоров добрался до поляны, где возводился дом. На него по покатам[36] на веревках поднимали матку[37].

— Раз, два — взяли! Е-е-ще раз!

Тут был и отец, тянул по команде за веревку.

— Легла матица, — дальше дело веселей покатится!

— Чижолая, собака! Ей бы рюмку посулить, — сама сиганула бы на место.

— Земля да лес — чертов вес.

— Не до рюмки нам, товарищи, — сказал высокий человек в пропоченной рубахе, сутулый, с подстриженными черными усами. Говорил он неторопливо, глуховато, будто мягко хлопал в ладоши. — Работы у нас столько не бывало. Не одну рубаху спустишь, пока домов наготовишь. К осени школа нужна, дворы скоту, амбары, а тут страда наступает. Двадцать пять семей идет на новое место.

— Василий Антонович, слышно, грозят нам в деревне. Тебе, как председателю, не доводилось узнать, кому мы пришлись невдосоль?

— Богатеньким — Зыковым, Забурдаевым, Комакиным — пришлись мы как песок на зубы. Они стращают, подбрасывают записки. Приведем больше народу на свою сторону — начнем некоторым клыки выламывать.

— А что, ребята, — спохватился Филя Бочаров, — неладно укладывать матку в пустое гнездо: счастья не видать. Гляди да и отрядят этот дом мне — зачичеревеет в нем моя баба без плоду.

Он порылся в кармане, погонял пальцем на ладони медную

мелочь.

— Кабы знать, захватил бы из дому гривну.

— Для разживы и пятак пойдет. Он круглый, покатится, заиграет — счастья намотает.

Филя понес пятак под матку. Коренастую фигуру легко несли ноги, и походил он на здоровенный белый гриб.

— А я раскидываю головой, что этак люди делают для утехи, — заговорил тщедушный Михаил Зубков. — Положат и надеются, что счастье не себе, так детям попадет. Перетрясали мы в третьем году избу, нашли под углами медяки, а под маткой золотой. Избу еще дед ставил. Сам прокуликал жизнь, отец где-то мимо нее прошел, а мне этот золотой угодил в руку. С радости набрал ребятишкам сластей, бабенке — сряду, а себе — вина. Три дня ревел на тот золотой. Три дня и побыл богат-то.

— Не своими руками положено оно было, оттого про него скоро и не догадаешься, — сказал председатель. — Уж лучше мы положим под каждую матку коммунарского дома наше согласие. Оно понадежнее золотого. Такого счастья ждать да искать не надо. Наши дети, внуки к нему свою прибавку сделают.

— Ну что ж, товарищи! Посидели, посудили, порядили, начнем еще, пока не остыло плечо. В баню домой не поедем, помоемся в речке. Завтра новый дом под матку подводить.

Филя Бочаров ухнул новой колотушкой по звонкому бревну, зашумела пила, закувыркались сверху белые щепки на примятую траву.

Отец мой заведовал складом, что размещен был в маленьком амбаре, где и сам жил целое лето. Меня он потребовал в коммуну в подпаски к пастуху овечьего стада. Летом 1920 года должность подпасков понедельно несли все дети коммунаров в возрасте 10–11 лет. Пастухом был нанят старик, по прозванию Паня Дубок. К нему-то и был я определен в подпаски.

Первую ночь провел я с отцом в амбаре, среди фляг, бочек, мешков с печеным хлебом, лопат и гвоздей. Мы улеглись на скрипящие тесовые нары, забросанные сухой травой, накрылись шубами. Узкая полоска света в проеме над дверью амбара скоро потемнела, тоненький коготок месяца проплыл в ней и потух в стене. В амбар влилась ночная свежесть, коснулась лица. Где-то рядом вышел коростель на ночную прогулку в новых сапогах со скрипом.

Свежее утро вывело чистое солнце из-за вершин леса, живой ток лучей засветил стволы деревьев, обильная роса приклонила травы, зажглась играющей россыпью огоньков. Над амбаром в вершине березы кукушка тронула мягкие клапаны кларнета.

— Время подниматься, — сказал отец, заскрипел нарами,

открыл дверь и напустил полный амбар свету. Он положил в холщовую сумку запас, надел ее мне через плечо, повел на работу.

Около болотца за изгородью шевелилась овечье стадо. Собачонка встретила нас заливчатым лаем. У шалаша догорал костер. На пеньке сидел старичок, собирал с колен хлебные крошки, забрасывал в рот.

— Это тебе сменный работник на неделю, — сказал старику отец. — Пойдешь к нему под начало. Слушай, не перечь.

— Горячую картошку хошь? — предложил Паня. — Рассыпчатая, вкусная. На огне побывала, — страсть хороша!

С этого утра я приступил к первой своей трудовой обязанности в коммуне.

Пастух Паня Дубок, с которым я сделал первые трудовые шаги на новом месте, был одиноким человеком. В молодости жил по работникам у богатых. За усердный труд женили его добрые люди, поставили избушку, но скоро от горячки умерла его молодуха, и остался Паня, как кол на пустыре. Заколотил свою избушку, с горя пошел в работники по другим деревням. Когда же годы стали постукивать в загорбок, а ноги плохо чуяли ямки на дороге, вернулся он в родную деревню, определился в пастухи. Неудавшаяся жизнь замкнула его на замочек и отправила на выпаса, в общество коров и овец, к ветру в гости, к солнцу на беседу. Так вот и дошагивает он остатнюю дорогу по земле, живет про запас людям.

Снабдила природа Паню, как и других, руками, ногами, даже голову посадила набочок на короткую шею, но не дала ему росту и путевой бороды. Как смогла натура уместить в маленьком теле большую душу с просторными краями! Жизнь намусорила туда, пошли сорняки, Паня не управился с ними, оттого добрые ростки захирели, заклякли[38]. Грамоты он не знал, книжка ему была дешевле свистульки, но не утратил некоторой наблюдательности, мог думать. Он целыми днями мог молчать и глядеть в пространство, но могло его и прорвать. Тогда он даже грозил сухим кулачком, как это делает ребенок, которого грубо толкнул взрослый. Так же, видимо, когда-нибудь толкнула его жизнь, сказавши: «Паня, не вертись под ногами!» Обездолила его жизнь, только на поле чувствовал себя хозяином, командиром овечьего стада.

Мне и после приходилось быть у него в подпасках, когда школьников распускали на лето. Немало мест исходили мы, не один кустик обсидели. Хлестали нас дожди, полыхали в глаза молнии, ворчал и ахал в ухо гром, сушили нас ветер и солнце.

Ненастный день. Стоит Паня на бугре, как серенький

лоскутик, надетый на палку. Сыплет мелкий, противный дождик, на душе серо и гадко. Сижу на корточках, накрывшись башлыком. Так и хочется поднять лицо и плюнуть в мутное небо, но шевелиться нельзя: вода стекает за ворот. У Пани на плечах кусок старого брезента. Клюет его дождь, а он неподвижен и молчит, смотрит на пасущихся овец, на мутный горизонт, дальний туманный лес.

Я видел по крутым логам, где образуются снежные завалы, изуродованные деревья. Как только ни изовьет тяжелый снег стволы! Кажется, не поднять деревцам своих вершинок к солнцу. Но пробудит весна в земле соки — заживет поросль в сиверах[39], изгибаясь и перекручиваясь. Какая сила жизни! Паня походил на эти задавленные, но упорно живущие деревья. Как коряжинка, стоял он на бугре. Когда овцы разбредались, Паня поднимал палку, кричал:

— Кыр-р-р-ря! — Животные понимали его знаки и возгласы, собирались в кучу. Упрямой овце он грозил палкой, качал головой, сокрушался:

— Дура и есть. Не положено тебе мысли в голову, а в стадо лезешь. Вороти-ка эту шлынду, — приказывал мне Паня и опять молчал да смотрел.

В жаркие дни пригоняли стадо на стойло к водопою. Овцы ложились в тени кустарников, а мы усаживались у колодчика, на дне которого в луночке играл родничок, шевелил мелкие песчинки, постреливал бусинками светлых пузырьков. Раскрываем сумки, едим, припивая холодной водой. Паня вкусно глотает из бутылки, подняв кверху лицо. Кадычок по горлу ходит маленьким поршеньком. Солнце просвечивает жидкую бороденку, и кажется, что лицо у Пани испачкано, залеплено клочками серой паутины.

— Бог напитал — никто не видал, — говорит Паня, закрывая сумку. — А кто видел — не обидел. Крошки смахнем в ладошку да угостим дома кошку.

Я заметил, как он бережно относился к хлебу. Нелегко добывал его Паня. Даже хлебные крошки не выбрасывал из сумки, а стряхивал на лист лопушника, клал на пенек.

— Хлеб на потребу людям дан. От куска в человеке сила бывает. Сила и хлеб добывает. А крошки пусть всякая божья тварь разберет — козявка, мушка, таракашка. Птичка склюет, — песенку споет, а мы когда и послушаем.

Забота обездоленного человека о летающем, ползающем мире трогала меня. Маленький Паня в эти минуты светился приветливым окошком. Но почему всякая тварь шла от бога? Тут мне хотелось с ним поспорить.

— Бога нет! — сказал я и поглядел на Паню.

Паня, раскладывая на солнце онучи, обернулся ко мне. Брови сдвинули морщинки на лбу, в белесом камыше ресниц открылись голубоватые озерки глаз.

— Что! Я вот те тресну в затылок-то!

— Да, тятя дома говорил.

— Твой тятя не знает, где мама живет.

Сразу стало обидно за отца, захотелось сразить Паню веским доводом, чтоб свалился он с пенька — этот злой леший-колючка.

— Учитель в школе тоже говорил. В книжке написано!

Этот довод поколебал Паню. Он помолчал, хмыкнул, почесал босую ногу.

— Книжка водится для антиресу. У кого легкая жизнь, тому она заместо забавы. Прочитал — как семечек полузгал. Бога нет! А кто из воды пузыри гонит, ветер поднимает? Один цветок красный, другой — белый. Почему черной травы нет? Вот то-то. Тоже, когда парнишка, когда девчонка нарождается, а бывает семья совсем пустоцвет. Кто этим делом правит?

Паня смотрит на меня с пенька победителем, шевелит бровями, поднимает вверх руку.

— А вот, к примеру, такое дело. На чистом месте родится облако, потом ходит по небу. Кто такую страсть носит? Твой учитель с отцом таскают? Тут какая сила должна быть!

— Облако — это пар, — пытаюсь я возразить. — Зимой изо рта у человека тоже пар получается.

— А сейчас тебе зима? Посидели на солнце, — тарочки[40] по косицам потекли. Врет твой Андриан — боле никого! Пар, пар… Душа-то у человека есть? Паром, может, она живет?

Паня переходит в тень, ложится на спину. Сраженный в поединке, пытаюсь сопротивляться:

— Бога никто не видел. Его только на иконке рисуют.

Довольный победой, Паня не сразу отвечает. У него спало боевое настроение.

— Иконы делают люди сами, а что там наверху — не узнано. Есть бог или нет, а верить в хорошее охота. Вот оно как, якуня-Ваня[41].

Переменчиво у Пани настроение, как неустойчивые тени облаков. Опали колючки, опять подобрел. Ложусь рядом, оба смотрим на сахарную голову растущего облака, на воздвигающиеся скалы по краям волнистой долины, на краски теней.

— Туда бы нам с тобой махнуть! Сколь далеко оттуда земля видна. Шагали бы с горы на гору. Может, чего там добыли бы…

Мечтает старик вслух. Меняется облако, возникают и

исчезают тени, растет сияющая вершина воздушного гиганта, уходит в теплую глубину. Слетают тени на мои глаза, туманят легкой дремотой. Плетет сновидение узор… Мы с Паней пасем овец в облачной долине.

2

В Журавлихе, откуда вышла горстка коммунаров, были противники и революции и первых ростков коллективной жизни. В памяти были еще свежи годы революции, гражданская война, колчаковщина отрыгала бандитскими шайками. Острие этого оружия было направлено против нового в жизни крестьян.

После трудового дня коммунары возвращались на ночь в село, а те, кто уже жил в первых домиках, проводили летом тревожные ночи по амбарам. Когда по селу ходило много слухов о злых намерениях по отношению к коммунарам, когда в окрестностях маленького поселка кем-то создавались подозрительные шумы, а порой слышались и выстрелы — мужчины проводили ночь по сторожевым точкам на случай нападения.

Редкий день проходил без того, чтоб кто-нибудь из коммунаров, приезжая на работу, не привозил новых слухов. Кто-то упорно распространял их, щедро чья-то рука подмешивала в чистые семена сорняки-глушители. Змеиными головками поднимались они вокруг коммунаров, хмелем оплетали молодой побег коммуны, накидывая витки-удавки, держали в постоянном нервном напряжении. На ночь женщины заставляли окна жестяными кухонными листами, приставляли лестницы к деревьям, чтоб укрыться при нападении.

Руководство коммуны решило бороться со слухами тем же оружием. Иван Носов искусно выполнял эту работу, распространяя слух о том, что коммунары добыли восемь винтовок и пулемет, который поставили на строящийся двухэтажный дом, что его не кроют только потому, чтоб лучше было вести обстрел.

Когда же угроза нападения стала реальной, в коммуну прибыла группа солдат-конников. Жизнь повеселела.

Для тех, кто уже жил в поселке, кто оставался здесь ради охраны или срочной работы, была организована столовая под открытым небом. Среди стволов березовой рощи, на полянке, стоял стол из длинных плах на стойках, рядом — чугунный котел и черпак на длинной ручке, на манер того, каким наливают из реки воду в бочку. Вот здесь и столовались первые коммунары, за

шершавыми столами-стеллажами, среди деревьев, зеленых трав, под высоким небом.

Шумно и весело было здесь днем, а ужинали торопливо, говорили тихо, поглядывая на вваливающуюся темноту из-за стволов деревьев, сторожко слушая шорохи умолкающего леса.

Беспокойный человек

Мы живем в коммуне в просторной избе из двух комнат. Теперь у нас стоят две кровати, а полатей нет. Избу нашу в Журавлихе разломали и перевезли еще весной. Одна цветущая черемуха осталась над тем опустевшим местом, где я впервые увидел свет. Пусть стоит белым памятником у истока детства. Пусть постелет звездочки-лепестки под первый след другого ребенка, пришедшего в мир!

За сенокосом в напряженном труде прошла и страда. Отшумели молотилки, отстучали веялки, прибрались хлебные вороха на току, отстирались пыльные рубахи коммунаров. Улетели журавли. Холодные зори студили землю, стлали над речкой туман. В лесу стало строго и просторно. Бойкие синицы принесли в него беспокойные песни. Лес слушал и ронял листья.

В эту осень я пошел в открывшуюся школу. Мы гадали, кто будет нас учить, захватывали парты, делились впечатлениями лета. Девчонок оттеснили на задние парты. Только одна Лизка — дочь председателя коммуны — не уступила облюбованной парты в первом ряду. Вытащить ее из-за парты за косу никто не посмел.

Учитель вошел в класс, когда мы по-своему переставляли парты, спорили, кому дежурить, чтоб первому ударить в шабалу[42], подвешенную на крыльце школы.

— Это что такое! Откуда печенеги?

Посмотрел строго, прошел вперед, отбрасывая правую руку. «Печенеги» притихли, наблюдая за ним. Он скосил голову набок, поколол иголочками глаз поверх очков.

— Детям коммунаров нельзя устраивать потасовки! Жить будем дружно. Гришка и Манька, Сенька и Танька — все равны, все нужны. Садитесь.

Учитель заставил нас положить руки на парты, обошел по рядам.

— Завтра буду выдавать тетрадки и книжки в чистые руки.

Получили первое домашнее задание: размести у крыльца перед своим домом, остричь волосы, отмыть руки, обрезать ногти. Расходясь по домам, поняли, что спуску не будет, что учитель через очки может, наверно, сквозь стены все увидать.

Дома я принялся за свои руки. Отмывая мылом, золой, шоркал песком, думал о строгом учителе — черноволосом человеке, — что когда-то видел на постановке в Журавлихе. Тогда он поразил меня игрой на скрипке, а теперь заставил заниматься шеей да ногтями. Его размашистая походка напоминала событие, когда я впервые увидел учителя. Он шел по заснеженной улице впереди немногочисленной группы людей, с красным знаменем. Временами поворачивался к идущим, поднимал в руке тынину, и взлетала песня «Смело, товарищи, в ногу!».

По сторонам этой процессии гарцевали на бойких лошадях два всадника с карабинами, гулко стреляли в зимнее небо. Вся деревня была взбудоражена. Шествие привлекло молодежь, ребятишек, а в оградах стояли пожилые да старики. Праздничная демонстрация в годовщину победы Октябрьской революции проводилась впервые, была необычным явлением, потому люди не решались примыкать, рассматривали шествие из-за городьбы.

Маленькая демонстрация двигалась по улице, все чаще под красным знаменем раздавалась песня, а конники усердно палили, будили тишину и нерешительность Журавлихи.

Вот этот дирижер с тыниной и был первым учителем в коммуне «Майское утро».

В 1921 году коммунары открыли школу в приспособленном здании на втором этаже. Это были две комнаты и маленькая боковушка вместо учительской. Когда из нее выходил Адриан — так большие звали учителя, — любопытным взорам открывалась этажерка с книгами, а на стене — портреты Добролюбова, Пушкина, Белинского.

Квартиры для учителя еще не было, поэтому он ездил ночевать в Журавлиху за четыре километра. Коммунары дали ему самого смирного мерина, по кличке Колчак, и мы после уроков ходили за ним в пригон, седлали. Лошадь ставили впритирку к наружной лестнице на второй этаж. Учитель садился в седло, мы помогали ему попасть ногой в стремя, подавали повод и отходили в сторону. Пока он отъезжал, строго было заказано шуметь, свистеть, следовать за конем. На следующее утро он въезжал в поселок, и сразу раздавался звон шабалы, что значило: учитель приехал — собирайся в школу.

В первое время обучалось немного ребятишек во втором и третьем классах. Занятие велось одновременно, мы по очереди отвечали у доски, решали и писали самостоятельно. Звонка не подавалось, а просто учитель говорил:

— Идите на двор.

Уборщиц в школе не было. Чистоту поддерживали сами. Сами топили печи, ночевали на классной доске, положенной на парты. Как заманчиво было ночевать не дома, а в школе! Романтично… Романтика никогда не ночует дома.

Шло время. Мы росли, собирали знания по крупицам. Подобно молодым растениям, копили в себе запас сил, жизненных впечатлений, питались добытым опытом людей, и никто не знал, каким цветом зацветем в жизни. Только яркий цветок среди множества других, бледных, непривлекательных, заметен каждому. Какое терпение и глаз нужны тому, кто по слабым знакам предположит, на что способен молодой побег, какой цветок он может раскрыть. Таким человеком мне представлялся мой учитель, Адриан Митрофанович Топоров.

Первый учитель… У каждого человека он, как начало пути, как неизгладимый оттиск в детской душе. Пусть время подарит тебя другими, более значительными учителями, но первый останется тем маленьким далеким огоньком, что посветил тебе в начале пути.

Для одних учитель — светлый образ заботливой матери, ласковой, прощающей детские проказы в надежде, что вырастет ребенок — сменится и наряд. У других он был путеводителем в годы детства: читай его и узнаешь о далеких землях и людях, о том, что не растет и не живет рядом с тобой. Третьим он помнится скромным тружеником, склоненным над детскими тетрадками, чтоб научить нас читать, писать и думать.

Сложна работа учителя, и сам он — человек с емкой душой. Он руководитель без претензии на власть, друг без панибратства, советчик без нотаций и вышка, куда поднимает питомца, чтобы оглядеть мир.

Чередой проходят поколения через руки учителя. Он в постоянном волнении за их будущий труд и жизнь, и Как горький упрек, воспринимается падение бывших воспитанников, словно он за внешним благополучием не смог когда-то разглядеть червоточинки.

Я не знаю, подолгу ли сидел Адриан Митрофанович над нашими тетрадками, но над нами, особенно над некоторыми, засиживался. Он не укладывался в обычное понятие об учителе по представлениям того времени, не остывал, а был в постоянном движении, как учитель и человек. Хвалить без дела не любил, за проступок взыскивал строго. Нельзя было знать заранее, какие молнии у него в запасе, чтоб поразить лень, неряшливость, верхоглядство, безволие, тугодумие. Он подчинял ученика своей воле, горел вместе с ним.

Время его работы в школе не определялось никаким расписанием: до обеда и после — с учениками, вечером — со взрослыми. Вся культурная работа в поселке велась им: постановки, хор взрослых коммунаров, оркестр школьников, стенная газета, ликбез, вечернее чтение газет и художественной литературы для взрослых.

Никогда я не видел учителя праздным. Любитель меткого народного слова, он и на собрании и в беседе прицеливался к говорившему и хватался за записную книжку. Говорил образно, доказательно, остро. Газетный материал подавал увлекательно, и сложное распутывалось по ниточке. Книжки читал, как говорили коммунары, «на голоса», каждому герою «свое наречие» придавал.

Позднее, когда со мной можно было уже рассуждать, зазывал к себе. Ему нужен был слушатель для развития доказательства, когда попадала норовистая мысль. Мне же такие беседы служили на пользу.

Случалось, приглашал в баню. Мылись мы долго, с перерывами. Перерывы использовались для рассуждений литературного характера.

— Давай-ка полезем на полок, — говорил Адриан Митрофанович, — и потолкуем.

Сидят два голых человека на полке в бане, обсуждают новинки из журнала «Сибирские огни». Потолкуем, помоемся и опять на полок, потеть и рассуждать. Один раз мы увлеклись разговором и просидели в бане до поздней ночи.

— А ты знаешь, что Оскар Уайльд ставил ноги в холодную воду, когда садился писать, а Шиллер клал в письменный стол гнилые яблоки? К чему это они так? Видимо, это импульсом у них было, толчок мозгам. Чудно? Можно и поверить. У меня интересные мысли иногда родятся в бане. То ли крови больше заходит в голову? Верно, со мной так бывает! В прошлую баню пришла недурная мысль. Что, если собрать отзывы коммунаров о прочитанных книгах? Пусть-ка скажет слово простой человек, для которого книга пишется! Критики хвалят, хают писателей, а народного мнения не собрано, не слышно писателю этого голоса. А? Верю, что мнение есть, и толковое! На пользу оно должно пойти. Недавно прочитал коммунарам стихотворение, высокое по мастерству и тонкое по лирике, — поняли! Родилось свое отношение, образы… Заговорили мужики!

В эту минуту в предбаннике послышался голос:

— Адриан, ты не угорел? Какой вас черт гнет в бане уже третий час? Время-то позднее!

— Марья, Маруся, ты не ругайся, — отвечает жене учитель. — У нас, видишь ли какое дело, только до главного дошло!

— Подопру вот дверь — сидите до утра!

— Придется сдаваться: осада серьезная. Пойдем-ка ко мне на чай, там я докончу, и ты увидишь, что дело это стоящее!

Прошли годы. Многие детали из жизни первых коммунаров унесло время, и только напряжением памяти вызываются разрозненные эпизоды далекого за приспущенной дымкой ушедшего. Встают образы людей, перенесших трудности удивительных по своему значению лет, людей, сделавших первый шаг в новое из обжитого, привычного мира. Вашему труду, вере в новую жизнь, вашей заботе о нас, детях, получивших первые навыки коллективной жизни и работы, обязаны мы вам, коммунары двадцатых годов! Спасибо вам и за то, что пригласили учителем беспокойного человека, оставившего в памяти нашего поколения незабываемый след.

Хочется выделить одну из особенностей Адриана Митрофановича как учителя. Не был ли он следопытом детских душ? Сдается, что ему хотел ось узнать, к кому природа оказалась благосклонна, кому забросила излишек даров? На что может отозваться детская душа? Ради этого он делал все возможное,

искал и привозил в коммуну.

Он собрал расхищенную при пожаре библиотеку, добыл в трудные годы музыкальные инструменты, костюмы для самодеятельного театра, масляные краски ученикам для пробы кисти. Учитель рисовал и лепил с нами с азартом. Увлечение передавалось ученикам, и детская фантазия хозяйничала над куском глины, отыскивая сказочные образы.

Послеобеденные чтения учителя переносили нас в мир героев, они выносились из школы, переходили в клички животных. Всю греческую мифологию прошли мы с многострадальным и хитроумным Одиссеем по размеренным строкам гомеровской «Илиады». Герои Древней Греции подолгу жили вместе с нами. У нас появились свои Одиссей, Пенелопа с Телемаком, Циклоп и Посейдон с Эолом. Брали приступом Трою на песчаном косогоре реки, прятались в чреве «Троянского коня», залезая в водовозную бочку. Строгий учитель был у нас Зевсом Громовержцем. После уроков можно было слышать, что Акимке Зевс ниспослал хороший нагоняй за плохой ответ по истории.

На Пушкине постигали мы искусство стихосложения. Музыку Глинки пропела нам скрипка учителя. Имена Паганини, Карузо, Листа и Сарасате, Сибелиуса и Чайковского, Собинова и Шаляпина услышали из его рассказов. Репина, Сурикова, Левитана и Перова открыл нам Третьяков в стопочке-галерее, что постоянно находилась на этажерке учителя.

Увлекательно было слушать зимними вечерами читки для взрослых. Пьесы Гауптмана, Ибсена и Шекспира открывали бесконечный мир идей и чувств. Забавно выглядели взрослые коммунары в непривычной одежде мольеровских героев. Кабаниха Островского вызывала такую ненависть, что в ходе действия у женщин вырывалось:

— Чтоб ты сдохла, собака такая!

Горький стал ходовым писателем, волновал со сцены. Его Клещ голосом Ивана Бочарова разносил стены народного дома: «Правда, будь ты проклята!» Счетовод коммуны Крюков Михаил с котомкой Луки-странника разворошил ночлежку, заставил Филю Бочарова сказать притихшему залу потрясающие слова: «Человек! Это же звучит гордо. Уважать надо человека!»

В те годы не было ни кино, ни радио. Только газета и книга связывали коммунаров с жизнью страны.

Учитель удовлетворял малые культурные запросы, расширял их. Строилась культура руками тех, кто днем держал в кузнице кувалду, плуг на пашне, а вечером шел в школу на огонек, чтоб узнать, за кого писатель стоит горой, кого «провергает». Забродили в головах слушателей мысли, запросились на язык.

Слушай, писатель, слово крестьянина!

— Этот писатель накидает тебе в сапоги мелких гвоздиков — только и знай переобувайся: ну, никакого терпежу нет!

— Жизнь, она такая: какой человек и затускнеть может. Писатель, вроде хозяйки, оботрет-обходит человека, и понятно станет, что выбрасывать-то его рано.

Так отозвались слушатели о горьковских босяках.

В дни неурядиц в жизни коммуны учитель оказывал моральную поддержку, поднимал настроение людей.

Сидят озабоченные коммунары в зале народного дома, который служил первой общественной столовой, перед самодельными тазами из черной жести, едят без охоты. Ходит между столами в поварском халате из мешковины Иван Бочаров, сокрушается:

— Худо убывает из посуды. Не подбросить ли кому тазик кондеру?

— Не до кондеру.

За занавесом сцены мы навострили смычки скрипок, зажали в коленях балалайки, примостили виолончель, над сыромятной кожей самодельного барабана поднята колотушка. Смахнулся по проволоке занавес, слушай, коммунар, не падай духом!

Эй, вы, ну ли,
Что заснули,
Шевелись, беги!
Вороные, удалые,
Гривачи мои!

Заулыбались люди, а улыбка с шуткой ведь рядом живут.

— Вывел свое племя Адриан. Эка, дерут лучками, чертенята! Как в городе: еда с музыкой!

Каждое утро мать одевает ребенка, умывает. Большая человеческая забота проявляется в этом уходе. Подобно взыскательной матери, купал нас учитель в роднике пушкинской поэзии, обряжал в мелодичную прозу Лермонтова, причесывал гребнем смелой горьковской мысли, учил думать, наблюдать.

Зимними вечерами оставались любители литературы, дочитывали произведение, учитель вызывал на обсуждение, а то и на спор. Сам сидит за столом, хитро поглядывает на спорщиков поверх очков, подзадоривает, а мы потасуемся над бедным Рыцарем Печального Образа! Смеемся над нелепыми выходками, жалеем за неудачи, морщим лбы, ищем доказательства, путаемся в канве сервантесовского образа. Чуем, что где-то близко его человеческое сердце. Наши поиски прерывает учитель:

— Хватит, турнир окончен. Идите, рыцари, спать. Прибавится сил — разберем его по суставам.

В теплые дни водил по весенним дорогам к перелескам, ложкам, недвижным рощам, где солнце приглядывалось к синеватым теням стволов на снегу, будило лес. Приглядывались к кустикам, далеким и близким планам местности, сосновому борку — колчану с золотыми стрелами в зеленом оперении. Наблюдали, сравнивали, строили образные предложения.

— Скажи так, чтоб я с закрытыми глазами увидел пень, лес, дорогу, поле, как это бывает на картине у хорошего художника.

Ищем сравнения, краски, полутени, слушаем скупые звуки в молчаливом лесу. Готовое предложение обсуждаем, учитель выносит решение:

— Начинаю видеть, но еще мутновато. Проясни сравнением, тронь цветом. А у тебя удачно: зажило, хорошо вижу. Запиши.

Счастливец записывает предложение-картинку в копилку — самодельный блокнот для метких слов и выражений. Так начинались азы нашего творчества.

Среди нас, детей первых коммунаров, не было талантливых. Достались мы ему, как ровнячок-сплошнячок, а учитель приглядывался, искал. Если ученик подавал надежды, он загорался огоньком экспериментатора. Тут уж из его рук не вывернешься! Он решительно отодвинет в сторону твои детские интересы и нагрузит трудом.

С азартом гоняем футбол по поляне, садим его в разлапистую вершину сосны. Я увлечен, захвачен властью движений, но зовет учитель, строго внушает из раскрытого окна квартиры:

— Перестань пинаться. Это не для тебя. Ты на лучшее способен! Бери скрипицу, иди в лес учить дуэт. Потом приду поиграть.

Пристраиваю к стволу сосны ноты, учу партию. Оторвется учитель от работы, выйдет на бугорок, определит мое местоположение и усердие, и опять стучит его пишущая машинка.

Тихо в лесу. Скользят тени по лесенкам нот, поют наши скрипки. Иволга вставляет в дуэт свои пассажи.

— Хорошо, — говорит учитель, опуская скрипку. — Какой гений вместил в маленькую чудную форму столько мелодий и чувств! Такой маленькой вещицей когда-то потрясал мир Паганини. Ею же очаровывали людей Сарасате и Крейслер… Любит она труд и на всякое усердие отзывается чистым звуком и мелодией. Удивительный инструмент, умный. На радость себе создали его люди!

Лишь позднее понял я, что сам учитель, работая с нами, хотел и для себя эстетического удовольствия. Поднимая нас и

понуждая к искусству, помогал шире чувствовать мир. Не всегда мы были усердны. Учитель горячился, сердился, ругал нас порядочно, словно мы были виноваты, что не могли быстро расти, долго оставались детьми, не могли скоро составить ему духовную среду.

Коммунары

Засветила Советская власть в 1920 году огонек коммуны на далеком Алтае. Бережно пронесли его первые коммунары сквозь ветры непопутные, вихри-вертуны, сохраняя в рубцеватых крестьянских ладонях маленькое, горячее, трепещущее сердечко. Окреп и засветился он звездочкой маяка. Повернулись к коммуне лицом люди, пошли к малахитовому утесу соснового борка.

Добрая молва пошла по окрестным селам, понесла по крестьянским избам хорошее слово о коммунарах, заманчивую свежесть новой жизни. Не ради праздного любопытства начали заглядывать одиночки. Расспрашивали, прикидывали хозяйским глазом, соображали, куда гнет эта линия. Поехали экскурсии из дальних деревень. Захотелось увидеть небывалое, запомнить и попробовать у себя.

Гостеприимные коммунары рады показать плоды рук своих — поля, засеянные сортовыми семенами, свинарник, где поселились тугие розовые слитки чистопородных поросят, общественный

огород — сад с заманчивой россыпью малиновых ягод, яшмовыми узорами арбузных горбов.

На скотном дворе посетителей встречали неторопливым поворотом рогатых голов крупные коровы невиданной породы — Венеры, Лиры, Афродиты, Андромахи.

Вечером в народном доме потчует гостей Иван Бочаров за общим коммунарским ужином простыми изделиями сельской кухни. Разносят молодые женщины в больших мисках пироги да блины, а Иван в белом халате и колпаке ходит между столами, шуткой да приговором сдабривает еду:

— Тесто ставил ловкий спец, загибал пирог мудрец, в печку ставил я — Иван, вот и вышел он румян! Тот пирог мы в полотенце притомили, на кусочки без обиды разделили, наши бабы с поклонам к вам разнесли его по широким столам.

— Иван, хватит тебе, — говорит его жена, — остановись брехать, дай гостям пожевать! Что это ты сегодня распоролся? Пошло, как из прорехи.

Случается с Иваном такое, когда и клином не остановишь: изойдет разговором, натешится, а после варит коммунарам кулеш и молчит, будто копит присказульки и ждет, когда от них освободиться.

— Угомонись ноне! Не тебя гости слухать приехали. Дай кому грамотному путнее слово сказать.

— Баба, ты меня сегодня не шевели! Грамотные скажут лучше меня: у них ум наукой строганный, язык книгой наточенный. А мне как? А вот скажу по-своему сам про себя! Мы с тобой, Анна, досе, как слепые котята, тыкались под плетнем в Журавлихе, разевали рты, а и писку доброго не выходило. Книжки нам приправой к махорке были. Кто их писал, то и знал, про что толковал. Не было сурьезу к грамоте, не обносило голову мыслями. Жили, как кони: из пригона — в оглобли, из хомута — под седло. Верно, бабы, али как?

— Долго молчал, да складно сказал!

— Ты, Захарыч, у печки пересох: стреляешь, как стручок горохом!

— Он вроде спелой маковки: потряси — зашумит, переверни — посыплется.

— Речь у тебя выходит лучше просяных блинов!

— Дайте срок, бабоньки, заведем блины крупчатные, а пока этими зубы чистить можно. Вот ты говоришь, — обратился он к своей жене, — чтоб я путную речь не загораживал. Всю жизнь сторониться — большой дороги не видать. На эту дорогу теперь мы ступили и детей своих поведем. Мой Акимка с учителем на сцене царя Берендея разыгрывает. Пока мал — пусть в царя

играет, а вырастет — может, царем жизни станет! А еще про себя скажу. С бабой вечерами в школе в букварь глядим. Ведь этого не придумаешь, как в книжке прописано: «Мы не рабы. Рабы не мы!» Нам с тобой, Прохоровна, не дойти умом, не сварить головой, что мы не рабы! Не много букв в этих словах, а какое течение мыслей! Послушали гости дальние мое слово коммунарское, а теперь пирогом его закрепите, блинцом закусите, доброе слово про нас понесите.

Встал из-за стола председатель Василий Антонович, поднялся над сидящими рослой соснищей, протянул в сторону Ивана Бочарова руку ладонью кверху, с растопыренными пальцами, и показалось мне, что на нее можно усесться и покачаться, как на надежном суку.

— Вот, вот, Иван! Пришло время сказать про нас доброе слово. Его мы заслужили трудом, заработали горбом. Четыре года строили и берегли мы этот уголок, не только себе, а и для других. Скажите там своим, товарищи гости, что не легко подымались мы на эту релку[43], где стоит теперь наш народный дом. Сколько сучков в его стенах — столько мозолей у нас на руках! Ни одну рубаху спустили мы с плеч на этом месте. Дом стоит, коммуна живет! Не все у нас сладко да гладко, но время хорошее впереди!

— Дай-кась я сказану! — попросил слово Шитиков Дмитрий, выходя в проход между столами. Приблизился к гостям, выпрямился длинной тонкой хворостиной, гости заулыбались.

— Митрий, — спохватилась его жена, — ты хоть рубаху-то застегни: на люди вышел!

— Малаша, трошки помолчи, стань за словом в черед. По росту моему — хоть за три моря стань, все равно на виду у людей. Одно слово, мне не упрятаться. Жили мы, жили со своей Маланьей Тимофеевной сходно, по нашему разумению. Нажили по сорок лет и три года, детишками призапаслись, а потом и задумались: до чего ж мы дожились? Я с измалетства по плотницкой части пошел, потом наловчил руку на столяра, а дальше — стоп… Ни ходу в жизни, ни антиресу. Пятнадцать лет долбил дырки да через эти же дырки и на мир смотрел. Узко, глазу некуда развернуться. Жена всю зиму за пряхой, как жужала жужжит. Наткет такого сряду, что кожу на боках, как рашпилем, сносит.

— Не прибавляй лишнего, не наводи туману!

— Малаша, тут лишнего не прибавишь. Говорю, как на духу. Продолбишь всю неделю дырки, дождешь воскресенья — куда податься, каким делом душу поласкать? Помоешься в субботу в баньке, наденешь тиговые подштанники, да и полосуешься на улице в городки или в мяч. А то когда со скуки нарежешься вина.

На карачках к вечеру и половину дороги не осилишь. Протянешься, как ящер на солнышке, уставишь пьяные бельмы в небушко, пока не сволокут тебя с дороги, чтоб не мешал проезду.

— Постой-ка, Митряй, — послышался из угла голос деда Афанасия, — ты, навроде, и теперь дырки долбишь. Какая же у тебя перемена?

— Ты, Афанасий, — голос у Дмитрия споткнулся, а потом пошел, как по кочкам. — Ты тоже до коммуны был дед, сидел на чурбаке в своей ограде да чесал спину о прясло. Теперь бесперечь крутишь на веретене, веревки спускаешь. Всю птицу выпужал из сада своими заморскими пужалками. Вот и пришли мы к точке: был ты просто дед Афанасий, а теперь тебе народ еще и отчество прибавил — Кистянтинович. Это за твой труд и уважение к тебе, за грош, какой кладешь до общей кучи. Так и с моей дыркой образовался поворот. Она теперь коммуне дюже к месту! Недавно в школе учитель прочитал у какого-то писателя: одним досталась республика, а другим дырка от бублика. У нас, одно слово, лучше вышло: и бублик наш и дырка наша. Во! Расскажите своим краинским, что у нас человек к одному делу приставлен: один ткет, другой прядет, третий ягоды растит, тот — за коровами, этот — за поросятами. У нас цыплятки в инкубаторе выпревают, пчелки на всех мед запасают. Кончил работу — за книжку возьмись, а то и в школу пойди послушать газету. Может, какая мысля капнет тебе на темя, меньше ночью поспишь, пораньше глаза пролупишь. Вот как! Я кончил.

— Эк ты диво: языком-то, как стружку фуганком гонит!

— Хороши руки у Митрия. Голова с языком! Только начеплены они вроде на проволочный треножник: ходит-вихляет, на земле бороздки оставляет, а дело — куда знает!

Поднялся опять председатель над головами сидящих, остановил Дмитрия в проходе.

— Стой, Митрий, постой еще минутку! Пусть наши гости поглядят на тебя за то, что ты нарисовал хорошую картинку про старую жизнь.

Прокатят годы над этим местам, истропят его новыми делами. Родится другой человек, оглядит когда-нибудь нашу жизнь. Бедной покажется она ему, но он поймет — это начало. Раскинет по сортам наши дела и нарисует картинку про тех, кто начинал тут первый огонек, у кого к мозолистым рукам добавлялась голова. И тебя, Митрий, нарисует он на той картинке, тогда ясней будет, с кого дело пошло. Скажете, что нас пугали — мы пошли в коммуну, нас стращали — мы пришли сюда, нас стреляли ночами по избам — мы остались живы и будем жить!

Общие одобрительные аплодисменты подтвердили: «Будем жить!»

— Василий Антонович, случай-то какой!.. Хорошее слово от души запить бы чем.

Коммунары засмеялись, а Михаил Зубков виновато запорхал тенорком:

— Да нет, товарищи, не пить, а запить. Натренькаться я выберу время, а тут слово душевное закрепить бы, чтоб гости видели, что мы не только за митинг, а и живые люди.

— Пчеловода послушать надо, — обратился председатель к моему отцу. — Как у него там…

— Велено было про случай приберечь, а про какой — не сказано.

— Про этот самый, — махнул рукой председатель. — Давай на стол!

Отец доставил деревянный лагун, разлили медовуху по кружкам, подняли их над головами.

— За новую жизнь!

— За согласие!

— За вашу будущую коммуну, дорогие гости!

— Учителя надо позвать, — спохватился председатель. — За общее дело пусть с нами выпьет.

За закрытым занавесом разместился наш школьный оркестр. Настраиваем инструменты, трем канифолью смычки.

— У нас, Адриан Митрофанович, ради гостей сочинился ужин, потом дело повернуло на митинг, а к концу выходит чарка за всех коммунаров. Давай с нами!

— Ради такого дела… С вами, за всех, за гостей, за коммуну — будьте здоровы!

Поднялись кружки дном к потолку. Смачно закрякали в разных местах. Молодой голос Сашина Федора заворковал над пустой жестяной кружкой:

— Хороша, но скоро проскакивает…

Раздвинулся занавес, учитель сказал в зал:

— Раз дело вышло на митинг, то и музыка сюда своя положена.

Он приложился к скрипке, мы припали к своим инструментам, и шагнул из оркестра в зал «Интернационал», поднял коммунаров из-за столов. Смолк говор, серьезны стали все. Висячая лампа высветила женские платки, мужские лица, этюдные головы стариков, Шитикова Дмитрия, поднявшего голову под седины Маркса, да крупную, как заснеженный омет, фигуру Ивана Бочарова, с которым голова в голову высился в торжественном молчании Лев Толстой.

Окончен гимн. Учитель обращается к коммунарам:

— Споем, товарищи, песню «Кузнецы». Филипп, Иван, Михаил, запевай!

Поют коммунары… Впервые вижу поющую массу людей. Это кажется значительно, мощно, волнующе. Наступающей силой пахнуло от унисона простых голосов. Будто поет-гудит вековой лес, встречая вершинами ветер, раскачивает, вздымает и кидает к корням своим боевую мелодию. Слаб стал наш оркестр, а я почувствовал себя маленьким, легким. Волне крепнущих голосов уже тесно стало в зале. Она плеснула на сцену и качает меня в своем размахе, как песчинку.

Поет, уперев руки в стол, Алексей Зайцев — любитель песен и природы, крестьянин с тонкой душой романтика. Голос Михаила Крюкова зависает на высоких нотах песни, а потом срывается, как с гребня волны, исчезает. Поет Федор Джейкало, пришедший в коммуну из вечных батраков, ставший теперь животноводом. И Мезрин Федор Иванович — огородник, собирающий первый радиоприемник для коммуны, — вплетает в общее пение глуховатый басок.

Поют коммунары о кузнецах, кующих ключи счастья. И видится мне кузнец-титан… Его молот сыплет искрометные удары на необъятную наковальню-землю. Как похож этот кузнец на гомеровского Циклопа, срывающего скалы!

Я слышал поговорку: «Каждый человек — кузнец своего счастья». Каждый представляет себе счастье по-своему и кует ключи к нему своего размера и фасона. Но ключики эти, видно, слабенькие, мало в них проку. Егор Блинов — такой умелец в кузнечном деле, мастак на всякую всячину, — уж как он размашисто пластает молотом по жаркому железу, а ведь не мог же сковать себе ключей счастья, пошел в коммуну и поет про чудо-кузнеца.

Поют коммунары. Могучим молотом поднимается и опускается в строгом ритме простой напев. Это поют кузнецы своего счастья!

Окончена песня. Люди садятся, дед Афанасий подает голос:

— Надо бы к такому ужину на закуску плясунов подать, чтоб ублатворить гостей. Пусть потопают на сон грядущий.

Он смотрит на Никиту Ивановича — маленького, кругленького старичка, степенного на вид, но с пружинкой внутри.

— Иваныч, тряхни коленце, постружи половицы с приговором!

— Не поспела новая присказулька, да и с молодых надо бы запал зачинать. Стару-то щепку большим огнем надо

поджигать, — отговаривается Никита Иванович, освечивая улыбкой полное безбородое лицо с подстриженными с проседью усами, пористым носом-грушей.

— Заводи Сергей, — настаивают голоса, — распали старика, подогрей кровь, пусти ему в ноги почесуху!

— Этот даст припарку!

— Ему простор с телятами: все кусты пообтопал, траву на выпасах повыбил. Все колена разные закручивает.

Опоясал учитель смычком струны скрипки, трепыхнулась в оркестре разбуженная плясовая, бросилась со сцены к плясуну, — закачала его на гулких половицах, изогнула молодое тело. Застрекотали руки, ноги, словно Сергей стряхивал с себя звонкие шары и искусно играл ими носками и каблуками сапог.

— Вот сапает! Не дает музыке никуда проскочить — всю под ноги уминает.

— Зародится же человек: у него, поди, все суставы на вертлюги поставлены!

Молодость, как ты хороша, гибка и сноровиста! Сколько жару-огня в тебя положено! Щедро и красиво мечешь ты буйную силу. Тебе, видно, невдомек, какой бесценный дар расплескиваешь вокруг. Ледники не устоят — растопятся!

Подрагивают плечи у Никиты Ивановича, ноги не умещаются под столом, да разве так сможешь, когда шестой десяток на поясницу вешать начал… Годы да воды точат природу: согнут поясницу, выскоблят волос, растреснется голос, хлопнут в загорбок, — выскочит запас, и не узнает себя человек.

Никите Ивановичу годы тоже проскоблили лысину, оставив пепельный валик на затылке. Гнули горб, да только присутулили, а потом отступились, махнув рукой:

— Такого вертучего не придавишь. Пусть такой останется!

И вышел в круг старичок плотненьким обрубочком на крепких ногах, погладил лысину — и за пляску.

Легонек старик на кругу, еще владеет ногой. Будто гоняет Никита Иванович по полу говорливые галечки. Он поворачивается к оркестру, протягивает руки, смотрит-просит, развертывая ладони, покачиваясь на точеных ногах, играет каблуками. Подрагивает его фигурка, как межевой столбик среди июльских духовитых трав в полевом мареве.

— Дай, дай, подсыпай, а я разбросаю!

Смеется учитель, наклоняется со сцены, стряхивает со струн играющую цепочку звуков. Идет с ней бережно Никита Иванович по кругу, показывая присутствующим, сколько веселой музыки несет он! А потом вдруг взметнет руками, схватится за голову, будто поражен тем, как неосторожно обронил такое добро, и за

вертится и поплывет среди рассыпанных звуков. Плясал он со словами. Сам шутливо признавался, что где нога не возьмет, там язык доведет. Его веселых куплетов ждали зрители, просили:

— Присказывай, Микита Иванович, присказывай. Давай присловье под ногу!

Пройдется плясун по кругу легкой уточкой по волнам, потрет лысину — и вот, слушайте:

Думал долго — вышло вдруг,
Слушал сказку под каблук!

Ехал лесом, ехал бором,
Вырубил сосеночку:
Захотелось мужику
Выстроить избеночку.

Я тешу, тешу, тешу
Досочки сосновые,
Я прилажу-положу
Половицы новые.

Тюк, тюк, топорок,—
Вышел гладенький порог.
Стук-бряк, долотцо,—
Вот и новое крыльцо!
Вот и узкое оконце,
Чтоб не пробилось солнце,
Чтоб головку не пекло,
Чтоб румяна не свело.

Строил дом в сто венцов —
Родилась земляночка.
Подивилася старуха —
Белая беляночка.
До чего хорошо, до чего роскошно:
Можно лечь, можно сесть,
А вот встать неможно!
У кого сосновый дом —
У меня земляночка.
У кого достатку много —
У меня тальяночка.

Посидим, погрустим,
Помолчим, поплачем,
Про свое житье-бытье
С тальянкой посудачим.
Разберем, что к чему,
Какая нам планида —
И пройдет-прохлынет
На сердце обида.

Так бы жили да скрипели
До желанной смерти,
Но случилась тут беда —
Нанесли же черти!

Ветер дунул, дождь полил —
Всю землянку развалил.
Расплылась хатиночка —
Остались сиротиночки:
Две полынь-травиночки,
Две ягодки-малиночки.

Сели с бабой на порог,
Как белянка да груздок.
Что нам делать, как нам быть,
Куда голову склонить?
Восемь лет проплакали,
Пять лет утирались.
А потом додумались —
В коммуну записались!

Под аплодисменты вышел старик из круга.

— Когда он складывает, откуда что берет?

— Это он нынче про себя обсказывал.

— Вроде и меня прихватил тоже.

— У кого такой жизни не было. Скажешь про одного — каждый про себя подумает.

Расходились из народного дома поздно. Настроение бодрое и радостное разносили по домам.

Ночь вывесила над коммуной звезды. Месяц призапоздал где-то, а надо бы ему быть тут.

Трудовые тропы

Пристало вечернее облако к вершине сосны, припало пламенной грудью, оброняло алые искры в заросли леса, и загасили их прохладные тени надвигающейся ночи. Поздний вечер зажег звезды, уложил на ночь коров на прогретом стойле, замешкался в тростниках, поднимая туман, и принялся выкладывать лунную дорожку на темном окне пруда. Бежит

лунная мозаика, теряется в наплывающих волнах теплого пара. Ночь бережно опускает на воду редкие звуки, они вспыхивают лунными бликами, звучат-поют, как сочно вибрирующая виолончель. Густой камыш, облитый светом, поднимается строем органных труб. Это оттуда слышится хорал ночи…

Сижу у воды, вглядываюсь в играющую россыпь света на уснувшем пруду. И кажется, что по такой лунной дорожке вышагало мое детство из тальниковой заросли по вязкому зеленому войлоку ряски, по круглым листьям кувшинок на простор чистой воды. Как начнется моя дорожка по земле, что сумею сделать? Дрожат, качаются блики на лунной дорожке детства, а на берегу моя юность ставит перед собой первые вопросы, думает.

Жизнь каждого человека, как вехами, отмечается волнующими для него событиями. Вот сел ты за школьную парту и написал первое слово. Вот мчишься домой, и все избы, всегда безразличные, удивленно поворачиваются, придвигаются ближе к дороге, чтоб разглядеть твой пионерский галстук. А вот приносишь домой книжечку с силуэтом Ленина — паспорт юности комсомольской, и начинается закалка и проверка твоих человеческих качеств. А качества проверяются только трудом.

Жаркая сенокосная погода. Подваленная трава лежит высокой зеленой бровкой, темнеет и к вечеру пахнет свежим сеном. Группой женщин-косарей командует коренастый, шумоватый Михаил Носов. Он не любит затора в работе и сердится, когда кто-нибудь, соблазненный спелой земляникой, замешкается на прокосе, остановит ритмичное жвыкание кос. Он всегда становится последним, поджимает передних, покрикивает:

— Пошел, пошел. Отхвачу мослы-то! Ягоды зимой в сене выберешь.

— Подь ты к черту, Михайла! С тобой килу наживешь. Время передохнуть.

— Кила — нажива. Ее тоже заробить надо. По скольку ручек на душу вышло?

— Уж счет потеряли. Вон какую пластушину положили!

Пока не поспела гребь[44], нас — подростков — к литовке приучают. Сперва путаемся около кустов. Носов Михаил становится сзади, берет в беремя новичка вместе с косой, водит и советы подает:

— Травы не бойся, не пяться, а наседай! Носок литовки надо приподнять. Брей пяткой! Дыхание ровняй, не задерживай, на замах пригадывай.

Овладевших навыком косьбы пускали сзади взрослых, а косить подростку вместе с большими хоть и трудно, но лестно.

Потели и уставали мы изрядно.

Конец сенокоса отмечали жаркой баней. Так было и этот раз. Коммунары вытрясли почерневшие рубахи, сполоснулись из водовозной бочки, пообедали у последнего стога. Напоследок выкупали повариху, а Филя Бочаров перевернул чугунный котел, высказался:

— Хорошо работнули! Сенцо как украли. Теперь поели — и в баньку. Попарим тело — да за новое дело. Бабы, междуделком наломайте по свежему веничку на душу!

Вечером в общей бане пластали вениками животы и спины. Смешно смотреть, как голые мужики, усевшись на полке под самым потолком парной, молотят себя с азартом, крякают, стонут. Стоит густой шлепоток, будто в курятнике проснулись все петухи и разом ударили в крылья.

Дед Афанасий, крепкий, как смолевая лежка, ходил в баню всегда в первый жар, парился в шапке и рукавицах. Не всякий мог с ним схватиться на вениках. Смельчаки сваливались с полка, а дед, смачно нахлестываясь, покрикивал:

— Поддай еще. Гармонизма пару просит!

Из парной выходил красный, будто собирался расплавиться, валился на лавку, просил облить холодной водой. Я вылил на него два таза воды. Дед сел, смотрит на меня сквозь банный пар.

— Вроде наш, вроде нет, кикимора те заклюй! Когда успел вымахать? И голос сменил. Вырос. Это хорошо. Надо лишние вилы припасать. В работники выходишь.

Из бани я вышел будто не в ту дверь. Словно дед Афанасий бережно толкнул мне в душу, и там начало что-то смещаться. За порогом бани навсегда остался подросток.

Поднимались мы, выходили на примету, пополняя трудовые ряды коммунаров молодыми руками. Вышел на примету и я. Зимой отец принес мне новую шубу. Я надел ее, а отец поднял палец вверх и сказал:

— Вот тебе шуба от коммунаров. Правление решило одеть молодых, кому в работу пора. Теперь после школы надо заглядывать в пригон, где какую работу со скотом сделать, а то и с поля привезти воз сена да отметать.

В горячую пору постройки домов, скотных дворов нам, кто уже под лесину гож, дали лошадей. В далекий бор за лесом выезжали по вечернему холодку, к рассвету нагружали брички тяжелыми липкими сутунками, а когда над чистым горизонтом всплывало полное огня солнце, далеко в полях маячил наш обоз в розовой дымке утренней пыли. От усталости и бессонной ночи слипались глаза. Чтоб освежиться коротким сном, привязывались веревками и распластывались, пригвожденные сном, на

подрагивающих бревнах. Перед крутыми спусками обоз останавливался, слышался крик:

— Устава-а-а-ай!

Проснувшиеся передавали «уставай» дальше. Осматривали упряжку, затормаживали колеса, спускались на дно лога, налитого застоявшимся зноем. Смокали кони, вытягивая свинцовую тяжесть пыльных сырых хлыстов на крутой подъем. Слепни серыми коростами нарастали на грудях лошадей, кололи в ноздри, жалили в потные вздрагивающие бока. Забегаю вперед, давлю с хрустом ладонью остервенелую орду насекомых. Они валятся крылатой шелухой на дорогу, тыкаясь зелеными глазами в горячую пыль.

Дома купаем своих Русланов, Араксов и Муромцев в реке, досыпаем без сновидений, чтоб в полумгле летней ночи в бору навалить на охнувшую бричку вывороченную из росной травы замшелую лесину.

Впору отцовские сапоги — время парня под вилы!

Молодое утро свежо, звонко. Курит тонким туманом, открывает помолодевшую зеленую землю. Доброе утро — вестник хорошего трудового дня! Как утро встряхнется — так и дело повернется.

На стене конторы приклеен наряд на работы. Подходят коммунары, отыскивают себя в списках, удивляются, не найдя своей фамилии в табеле.

— Василий Антонович, меня в наряде обошли. Фекла, Марья, Агафья записаны, а я обсевок или как? Дни-то теперь какие — без дела изведешься! Все при делах, кроме старух да ребятишек. Отряжай работу!

Мужчины уточняют с председателем неотложные работы, кадят в утреннее небо голубым дымком цигарок. Из раскрытого окна конторы бодро стучат счеты. Ожил поселок, скрытый в березовой роще. Утрами звонки голоса женщин.

— Кума, кто у вас эту неделю с ребятишками водится?

— Сказывали в конторе — Иванова девчонка, ее неделя.

— У вас кто будет?

— Михайла Носов пошлет свою.

— Куда нынче твой мужик-то?

— Слыхать, плотину делать собираются.

— Наш когда уж схватился в контору. Застрял где-то, а время собираться.

— Днем опять духота будет: солнце не успело оглядеться, а уж жаром играет.

У меня в руках вилы. Вместе со взрослыми в темном овчарнике расковыриваю спекшийся навоз. Душно под низким

потолком, рубаха липнет к телу. Не хочется показать усталости. Напрягаю силы, отдирая навозные слитки, а их, как магнитом, тянет вниз. Отдыхать выходим на свежий воздух. Он кажется сладким. Груженые тачки ребятишки отвозят к болотцу, где Тимоха Шульгин опрокидывает их на зыбучий войлок пешеходной тропки. Он ловко разделывается с тачками, покрикивает на лошадей и возниц, смачно шлепает ладонью по потным крупам лошадей, ухает, наговаривает:

— Давай, не зевай, пошеве-е-е-ливай. Сам не дремли и коню не вели!

Заупрямится лошадь, дядя спятит ее, сбросит груз, ткнет черенком лопаты в пах, оглушительно свистнет — выстреливает конь на подъем, а сзади болтается тачка, как голова зайца на свернутой шее.

Мне вспомнился светлый, с морозцем день февраля. Дядя Тимофей взял меня на охоту за зайцами. Длинными тропинками-сетями огородили колочки и завалы, а потом выпугивали зайцев из снежных ямок. Дядя усердно работал трещоткой, исчезал в ложбинках, выскакивал на бугорки, размашисто пересекал белые полянки. Зайцы, взметывая фонтанчики снега, бросались в открытое поле и попадали в сети.

— Сваливай да отчаливай! — командует дядя Тимофей на плотине.

Томит духотой и жаром. Сдираем пласты навоза и шмякаем их в тачки. Дядя тоже устал. Домотканая рубаха от пота пошла проталинами. Ворота у рубахи нет. Оголенную шею опоясывает неровная бахрома. А это вот как получилось. Сильно парило перед дождем. Торопились подобрать сено, дометать большой примет. Дядя Тимофей поднимал на вилах пласты величиной с облако, будто хотел перекидать сено в небо. Сенная труха набивалась за ворот рубахи, колола шею. Дядя молча снял рубаху, положил на пень и отпластнул ворот топором. В обед тетка Настасья поругала его:

— Ты, видно, на привязи был, да сорвался, что без ошейника остался!

— Вдругорядь такую не давай. С утра отрублю, чтоб помехи не было.

Устали кони и люди.

— Обе-е-е-дать-а-а-ать!

Это Иван Бочаров с полянки, сложив ладони рупором, через вершины леса вывалил свой мощный бас.

— Выпрягай, — сказали мужики и воткнули вилы в навоз. — Иван гаркает на обед.

Затомилась душа, спарилось тело. В речку бы перед обедом!

С разбегу плюхаются в прохладную воду тела, как накаленные добела болванки металла. Бурлит, пенится омут, плещет брызгами о берег.

Стал сын отцу под бороду — посылай в борозду.

Я отвел коней на ночное пастбище и направился домой. Перекинутые через плечо узды припахивали конским потом. На душе мирно и светло. Тихий вечер над коммуной. Приятно оттого, что прошел мой трудовой день в поле за плугом, что Руслан не терял борозды и Филя Бочаров ни разу не поругал за огрехи. Завтра опять шагать по лощеной борозде, чувствовать себя хозяином двух сильных лошадей, вышагивающих загоны.

Сходил к мельнице, выкупался и уже поднимался на взлобок, когда заметил учителя, возбужденно шагавшего в мою сторону. Белая косоворотка расстегнута, правая рука далеко отмахивает назад, левая припадает к груди, ерошит черные волосы на голове. Я шагнул к соснам, тоже сошедшим с дорожки, чтоб пропустить учителя.

— Нет, друг мой, — послышался его голос за деревьями. — Какими словесными выкрутасами ни обряжай фальшивую мысль, мишура жизни не заменит! Вот и крестьяне это разглядели. Не нравится твой товар — не обессудь! Не принимают его читатели.

Увидев меня, он попятился, замахал на меня рукой.

— Стой, не шевелись! — командовал он, заходя в сосновую поросль. — Это ты? Мне вначале показалось, что на нестеровского «Варфоломея» наткнулся. Но теперь вижу — не он, а «Захарка» Венецианова, только у того на плече топор. А я распалился насмерть: спорю с одним писателем. Жаль, коммунары заняты на срочных работах! Вот я и пошел к соснам, им толкую. С природой беседовать надо: ее целесообразность помогает понять, где фальшь, где правда. Давай сядем на землю. Древние греки заметили, что земля придает силу человеку, когда он к ней прикасается. А я еще думаю: она охлаждает фантазеров и вытягивает из головы дурь. А? Как ты думаешь? Ох, этому писателю полезно посидеть: у него лучше получится!

Сидим на высоком берегу у подножия сосен лицом к солнцу. Внизу речка ведет неторопливую жизнь, шумит приглушенно за плотиной, опустив со слива выгнутый зеленоватый ломоть упругой струи.

— Что делаешь? Пашешь. Это надо, — говорит он, провожая глазами птицу, опускающуюся в береговой тальник. — Отправилась на ночь… Завтра опять в полет… Опять труд… Какое это могучее средство обновления жизни! Вот и Брюсов про это же толкует:

Великая радость — работа,
В полях, за станком, за столом!
Работай до жаркого пота,
Работай без лишнего счета —
Все счастье земли — за трудом!

Ух, какая простая и красивая мудрость жизни! Труд представляется мне чудесным ювелиром, способным оправить человека в такие грани, когда он загорается внутренним светом, лучится, восхищая окружающих, проходит по жизни сияющим самоцветом.

Осмысливаю слова учителя. Вспоминается скульптура «Строители городов», где человеческие фигуры полны усталости и раздумья. От этого лощеные ручки моего плуга, блестящий лемех, укладывающий рыхлый пласт в прохладную борозду, стали значительнее, и сам себе я показался совсем взрослым и нужным. Словно спохватившись, учитель спрашивает, показывая на мою голову:

— Голова-то, голова чем занята во время работы? Ничем! Это уже плохо, совсем никуда. Кони тащат плуг, руки и ноги у тебя работают, а голова бездельничает! Не годится. Не люблю пустоголовия. В природе всякий пустоцвет засыхает, а если он появляется среди людей — тогда плохо: тогда выходят оболтусы да лоботрясы, один вид которых — мерзость! Вот я тебе и толкую, что голова у человека — это венец, а он должен быть всегда светлым и должен всегда работать. Земля наливает тебя физической силой, как гонит речной берег сочный ивовый прут, а вот душу свою должен растить сам! Надо что-то придумать для головы, непременно надо.

Противоположный увал закрыл солнце и потемнел сам, потушив сочные краски на завитках тальника. Над речкой поплыли волокна тумана.

— Давай послушаем природу, — предложил учитель, устраиваясь на траве. — Какой чудесный бальзам для расходившихся нервов!

Приглушенно шумит на мельнице вода. Потревоженная слабым дуновением, вспыхивает просвеченная солнцем березовая листва. С обрыва на закат смотрят голубеющие бубенчики чертополоха.

— Океан красок и звуков… Красива извечная борьба света и тени! Музыка… Ты слышишь музыку?

Учитель откидывается на руки, смотрит в вершины леса, где держится еще в нагретой хвое теплый свет, слушает.

— Слушай, воображай. От такой красоты в тебе должна петь музыка…

— Не слышу.

— Но, но! Не дури, говорю. Неумно упрямиться. Заставь воображение работать. Бетховен подслушивал у природы мелодии и мысли своих произведений.

— Но я не слышу. Какой я Бетховен?

— Дурья голова. Нельзя себе жизнь калечить. Вырастешь, как вон тот чертополох. Он красивый, но сухой, жесткий — ни трава ни сено. Заставь голову работать — увидишь и услышишь. Давай попробуем вместе. Вон дрожит в вечернем свете на вершине лист. В небе по малиновой груди облака ходят цветные тени. Это уже целое вступление к вечерней симфонии! Не всякий может быть Бетховеном, — это верно, но понимать музыку надо всем, чтоб наслаждаться ею, отдыхать с пользой. Звук и цвет — это два лишних окошка в душе человека. Обзор-то какой! Гляди-ка, гляди, как сосны торжественно положили смычки на контрабасы. Низкий звук поплыл к речным берегам. А вон дрожат кисточки камыша — это же скрипка! От берега пошла волна. Так на виолончель и просится. Все это надо уметь видеть, понимать, любить. Душа у человека от этого станет многозвучная! А то можешь век прожить, а душа-то на ладошке уместится, будет не больше рукавицы.

*

…— Вставать бы надо, сын, — слышу я снизу голос матери. — Совсем развиднелось, до солнца недалеко.

Летом я сплю на чердаке на хрустящих камышовых циновках. Здесь хорошо послушать перед сном летнюю ночь, сюда же первыми залетают бодрые звуки лесного утра, только я их просыпаю. Матери жалко будить меня. Она босая стоит перед лестницей на вышке, переступает ногами, смотрит на чердачный лаз.

— Вставать бы, сынок, надо. Дело-то вон какое у тебя… А сон-то об эту пору — самый сон сейчас у ребятишек. К подушке прижимает…

Я проснулся, но не могу пошевелиться. Поднимаюсь на колени, тру ладонями голову и падаю лицом в подушку, чтоб продолжить прерванное блаженство.

— Жарко будет сегодня. Скотину надо до оводов накормить. Днем искупаешься, доспишь… Хвалит тебя председатель. Приемистый, говорит, парень. Это он отцу про тебя вчера

сказывал.

Жалко матери ломать мой заревой сон, но поднимать меня надо. Мать начинает рассказывать.

— Пекарню затопили. Повар пошел в столовую. У председателя дверь хлопнула: видно, подниматься начали. Марья пошла с ведром. Пастух Никандра на пороге обувается.

Услышав, что Никандра уже обувается, соскальзываю по лестнице, опускаю голову в кадку, стряхиваю в серый круг воды остатки сна. Голова свежеет, за ворот потекли струйки, разгоняя по спине мурашки легкой дрожи.

Не люблю я пастуха за обтрепанные кисточки ковыля на бровях да за большие губы. Они открываются медленно, как кузнечные тисы. Сквозь узкую щелочку словам трудно пролазить, Никандр успевает прикусывать их. От этого все слова у него изжеванные. Как-то я проспал и задержал коров на дойке. Пастух сильно постыдил меня перед доярками. Он сидел на городьбе и, весь красный и конопатый, как мухомор, прикалывал меня к стулу обидными словами:

— Не поспело семя, а норовит в племя. Писарь еловый! Долго спишь, парнишка, у матери под мышкой. Онучу, поди, на ногу путем не намотаешь, а за девками стреляешь. Скажу вот отцу — он тя ремнем вдоль спины да с потягом.

Я покраснел и так смутился, что удой коровы Персеи записал на Лиру.

…— Утрись вон тряпкой, — говорит мать, — да скорей звони бабам.

Под березой бью в кусок рельса. Звуки разносятся по зеленым улочкам просыпающейся коммуны. Им отвечает четким стуком телега, да молодо ржет чистым голоском жеребенок.

На стойле у пруда досыпают коровы. Языками накладывают сочные мазки на влажные бока, шумно дышут в остывшую натоптанную землю. В легком тумане восхода за редкой изгородью отдыхающее стадо — произведение искусства! Словно трудился тут всю ночь вдохновенный скульптор-чудодей и только с зарей покинул свои изваяния. А теперь в мастерскую пришли женщины-доярки. Они хлопают статуи по упругим шеям, разговаривают с ними, и бьют тугие белые струны в звонкое ведро. За шатким столиком у прясла записываю удои, сливаю молоко. Холодные фляги оседают в хрусткий навоз и, как от натуги, потеют. Солнце запало на восходе, разгорается за лесом. Скоро просочатся ручейки его света, отыщут стадо в поле и вредного Никандру.

У меня в молоканке гудит сепаратор, чопорный, с перехваченной талией, гордо подняв блестящий круглый бачок-

чалму. Фарфоровая струя обрата спустилась в горловину фляги, поднимает мелкое кружево белой пены.

— Ровней крути, приноравливайся! Пусть одним голосом играет, не охает.

Председатель остановился в проеме двери, смотрит озабоченно, участливо.

— Трудно? Сил-то хватает? Угадал я тебя, правильно высмотрел. Цепляешься, когда подсаживают. Молокана из тебя сделаем.

Вот для чего останавливался он, когда мы выжимали полупудовички. Василий Антонович хвалил силачей, показывал, как сноровистей ухватить и выкинуть гирьку.

— В город бы вас свозить. Тамошние силачи ловко играют такими мячиками. Только там сила для потехи, а нам надо ее к делу приложить.

На следующее утро он подвел меня к молоканке.

— Заболел молокан. Дело нельзя остановить. Будь тут пока хозяином! Сдюжишь? А?

Такой работы молодым не поручали. Предложение меня озадачило, показалось страшноватым и заманчивым. Я колебался, смотрел неуверенно на председателя и боялся, чтоб он не переменил решения.

— Попробую.

— Дельно! — хлопнул он меня по плечу, распахнул двери молоканки. — Не робей, заходи хозяином.

…Вот и сейчас смотрит он на меня одобрительно, отчего легче вести гудящий сепаратор.

— Ровней води, держи на одной струне! Вот тебе срочная задача: масло к утру нужно. Люди едут в бор. Справишься или дать подмогнуть?

Оттого, что председатель со мной, как со взрослым, разговаривает, что завтра люди станут под тяжелые сосны, — обуяла радость доверия ко мне.

— Справлюсь.

— Не подведи. Новую школу задумали строить.

Мне хотелось скорей доставить в склад увесистый куб масла в пергаментной рубашке, чтоб кладовщик ахнул, сказавши:

— Славно сработано! Вот и диви, что молодой. А он заткнет старого за опояску!

Кручу маслобойку уже много времени. Устали руки, понывает в пояснице, а масло не сбивается. Кувыркается бочка, глухо плюхает в ее утробе, екает, как селезенка у лошади. А если неудача? Взяться и не сделать — какой позор! От него не спрячешься: здесь все на виду. Кручу и обливаюсь водой.

Вымотала меня бочка — обвяли руки, горят ладони. Обессиленный и растерянный, гляжу на смотровое окошечко маслобойки, а оно равнодушным бельмом смотрит на мое горе. Тяжело и противно чувствовать свое бессилье! Закрываю молоканку, опускаюсь в угол. Отчаяние выдавливает на глазах слезы. Плачу в уголке тихонько: не хочу показывать себя мокрым и бессильным. Выступившие из углов фляги сочувственно молчат, сухопарый сепаратор качает чалмой. Разыгравшееся воображение бьет тревогу, рисует страшное завтрашнее утро.

Вот уже запрягли телеги, собрался народ, но никто не едет. Уже спрашивают:

— Чего стоять-то. Какая заминка? Отчаливай!

— А масло-то где?

— Бабы, что это у молоканки народу нагрудило?

— Подумай только, что делается! Мужиков в бор отправлять надо, а новый-то молокан масла не приготовил.

— Что с парнишки спросишь.

— Какой тебе парнишка — по вечеркам уж ходит!

— Ой, срам!

Как выведенный на позорище, буду стоять у молоканки, не смея оправдываться и глядеть на людей. Тут обязательно будет Никандра. Он весь пропитан ядом, а где пройдет — останутся на земле плешины. Пастух обязательно прыснет:

— Нет, тут добра не жди! От этого сокола вороной относит.

Председатель не будет ругать. Он посмотрит, и это сомнет меня, как навалившийся в раскате тяжелый воз сена.

— Маху дал я, значит.

— Вот это уже конфуз и срамота, — сказавши, нахмурится отец и потрет переносицу.

Над головами людей вспорхнет голос матери:

— Мужики, бабы, не судите строго… Сил у него не хватило. Сплоховал парень… Он может!

Если бы в маслобойку ударил гром, чтоб разнесло мое мучение по лоточкам!.. Но она прочно стоит на опорах, красиво опоясана обручами и протягивает мне в знак примирения журавлиную шею крюка. Гром в бочку не бьет. Придется, видно, кувыркать кургузую толстуху: мое спасение от позора в ее хлюпающем нутре.

Много звезд стряхнула ночь за темный край земли, когда я все-таки добился победы. От усталости не хочется двигаться. В открытую дверь через порог натекает темнота, густеет по углам, и фляги, погруженные в нее по пояс, бродят, как ребятишки по мелководью. Лежу на полу, смотрю на месяц над крышей амбара. Ночь пошла на другую половину. Завтрашнее утро у меня будет

самое расчудесное!

Уже отпиликала гармошка, отпустив с «пятачка» молодежь по домам. Чей-то голос дремотно допевает:

Все идут, все идут,
А моего не ведут.
А я буду губы дуть,—
И моего приведут.

Умолк голос. Полный месяц удивился наступившей тишине, принялся заглядывать в окна домов, подсвечивать стволы берез. Коммуна спала и не знала, что усталый победитель идет досыпать ночь. По лесной дорожке месяц разбросал мне под ноги монисто ярких бликов.

Про музыку

— Не суетился бы ты, отец, раз не можешь, — говорит мать. — Полежи — отойдет. Взяток откачал. Какое теперь заделье на пасеке?

Отец сидит на кровати, натаскивает рубаху на худое тело.

Лопатки остро прорезываются зачатками крыльев.

— На волю мне надо… В избе я долго не оклемаюсь, да и голове тут неспокойно.

Стоит тепло. Все заполнил недвижный воздух. Небо приподнялось над полями, раздвинуло к посветлевшим увалам грудки облаков, ласкает притихший лес, удивляется обилию земли, яркому цвету озимых, опоясавших колки, слушает трактор. Он шумит, проводя строчки по жнивью, раздвигая перелески. Всюду покой, свет и раздумье.

Отец возвращается умиротворенный, посветлевший, усталый. Слабое тело примяла болезнь, разбросала по кровати. За сеткой корявинок прячется нездоровый румянец. Дрожащие ресницы опахивают глаза, тронутые небом.

— Уведрилась погода. Бабье лето нынче славное, — раздумывает отец. — Какое-то кроткое… и название ему какое! Целыми днями сияние, тишина… Уже пошла осенняя прожелть по березам. Лес, похоже, думает, а пчела играет…

— Ты не турусишь[45] ли там? — спрашивает мать из кухни. — С кем говоришь?

— Думаю это я.

— Правду сказывают: здоровый в дело впрягается, а хворый думами мается. Про что думаешь?

— Разные разности наплывают… Вот эта природа — силища! Не может еще человек до конца совладать с ней. Где человек осилит, а где она такую затрещину со звоном влепит — только ай да люли! Когда народит всего вдосталь, когда засушит или зальет. А то напустит хвори — мор пойдет. Не доведен ей порядок. Только день с ночью при своих местах стоят. Не от человека мир заложен, не руководительно заведено! Прохвораешь хорошие годы, а там, гляди, и помирать надо будет.

— Срок придет — помрем, а допрежь-то эти речи к чему у тебя?

— Срок… Тут тоже надо разобрать, кто срок назначает. Человек себе смертного часа не определит, а природа тут бесчинствует. Нашлет микроба, какого в щепотке не удержишь, — и начнет точить тело. Наведет он свой срок — развалит человека. Тоже старость… Никчемное дело! Придет — руки, ноги сведет, разукрасит морщинами, вышьет сединами, иссугорбит-согнет. Как на изгальство отдан человек! Голова умом ядреет, а тело вянет, хиреет.

— Не выходит вечной жизни человеку, — замечает мать. Она увлекается разговором, садится к отцу на кровать, наблюдает, как он живеет, протестует, доказывает.

— Бессменно одни звезды живут. Жизнь, она как-то

заманивает, потому и охота дольше пробыть на земле. Увидеть бы, куда придет народ, чем удивит. Мы изготовились на широкий шаг, теперь только идти, а тут болезнь или старость подрубит. С человеком таким манером расправляться нельзя: он не козявка!

— В школе говорили про какого-то ученого, — напоминает мать. — Он будто подмолаживает людей.

— Это про Воронова. Пытает он, где слабинка у природы, с какого конца ее осилить. Дожить бы, увидеть бы!..

— Трава родит семя и засыхает, — вздыхает мать.

— Повидать надо, куда прибьются наши дети, поостеречь, чтоб не намусорили в жизни.

Замолчали. Отец закинул руки за голову, мать смотрит перед собой. Так бывает, когда иссякнет беседа, и каждый слушает слабое эхо своих мыслей.

— Что даве с Адрияном стоял? — спрашивает мать.

— А-а-а, — не сразу отвечает отец. — Советует послать нашего старшего в город учить на музыканта.

— На музыканта?! — вскидывает мать глаза, будто я неожиданно и тяжело заболел.

— Что дивоваться?

— Ненадежное для нас дело.

— Кусок-то и музыкой добывают.

— Все как-то возле земли лучше: свой кусок, как родной сынок. Где с водой, где со слезой, а сыт будешь. Сема Пимик всю жизнь протиликал на гармошке по чужим избам, прожил на потеху другим без угла, без места. Схоронили в чужой деревне. Исчаднул, как дым над свечкой, и места, где жил, не приметишь.

— Ты, мать, не про то мне толмачишь. Не про деревенских гармонистов слово идет, а про музыку, какую по городам за большие деньги слушают. Наши музыканты доходят самоуком под забором да по баням. Оттого у них и жизнь навонтараты[46]. Судим их, а на веселую беседу привечаем. Нет музыканта — колотим в заслонку. Все же они нужны. Ученая музыка до деревни не доходит. Своих подымать надо.

— Боюсь я, — говорит мать. — Не свихнуть бы парню жизнь. Сам хвораешь, его от дома оторвем.

— Пока жив — попытаем. Не хожено — не торено, не испытано — не узнано.

…Музыка. О ней серьезно никогда я не думал, хотя чувствовал, что от нее бывает как-то хорошо, ясно: будто ходит внутри кто-то с фонариком, светит по всем уголкам. Стать музыкантом — красиво, заманчиво, но до этого мне далеко, как до звезд. Выйти бы в ряды деревенских гармонистов, сравняться с Васькой Лозбиным. У него гармошка поет голосами, промытыми в

чистой воде. Смущало и то, что учитель нещадно ругал нас.

Он жил внизу, а на втором этаже была школа, где после уроков мы твердили упражнения на скрипках. Выведенный из терпения фальшивыми звуками ансамбля скрипачей, учитель стучал в потолок, кричал:

— Позатыкало вам! Фа-диез совсем размазали! Смычками елозите, как оглоблями!

Мы молча переглядывались, отыскивали фа-диез, брали его отдельно, и у каждого нота, по нашему мнению, звучала чисто, а когда налегали на нее втроем, — дребезжала, будто ее измяло тяжелым колесом. Спорили, кто врет, а снизу опять:

— Поуснули там! Давай снова!

Виновный получал за фальшивую ноту смычком по лбу, отходил, сдерживая слезы.

— А вот играйте, играйте… Он услышит, что не я врал. Дойдете до фа — придет и всыплет.

Лизка с Ванькой начинают играть, а я злорадствую про себя, жду, когда они расквасят это чертово фа. Лизка шепчет Ваньке, отсчитывая ногой паузу:

— Как дойдешь — перестань, а потом опять давай.

— Скажу, — не вытерпел, поняв, что готовится обман, да и за щелчок хотелось отомстить.

— Лупанцев не хочешь? Набузую! — оборачивается Ванька, показывая кулак с зажатым смычком.

Он наколотит. Ваньке тоже достается, когда учитель ему «правит ухо».

— Третьего не слышу, — доносится снизу. — Где он?

Лизка оборачивается ко мне, глаза строго требуют:

— Играй!

— Не буду!

— Щелкуш надаю, — грозит Ванька, но Лизка наклоняется к полу, кричит вниз:

— Он на двор ушел!

— Вот я сейчас приду, — слышится через потолок. Плохо будет, придется играть.

Учитель пришел, когда мы миновали злополучное место, докончили упражнение, хотя у Ваньки остались три лишние ноты.

— Хорошее упражнение изжевали! Какую мелодию загубили! Где же уши? Петь надо, а не рычать. Тут небо с землей не наглядятся друг на друга, тут листья играют на ветру, а птиц-то сколько! У каждой хорошая песня. Вот как надо. Слушайте.

Та же скрипка, эти же струны и смычок наш, а звуки чистые, как омытые дождем цветы. Мелодии, кажется, такой мы не слыхали.

— Музыка у сердца живет. Другого места ей нет. Отведите для нее там уголок, жалеть не будете. Пошли сначала.

Вот и снова сыграно упражнение. Учитель смотрит на нас, нахохлился.

— Где душа, где? В какой стороне она прикопана? Как до нее дойти? Экое дерево! Полено даже отзывается. Кто вам в наказание повесил толстые уши? Давай по одному. Будем стучаться в ухо.

Стучался он к нам в ухо, отыскивал души, а они не терялись, с нами были. Мы сами хорошо их замечали по глазам, когда слушали знакомую музыку. Это видел учитель, и скрипка его тогда играла еще лучше, хозяйничала в наших маленьких душах.

…Стать музыкантом. Это дальше, чем до звезд. И, должно быть, музыкант — неземное существо: светится и просвечивает, сложен из гармоний и лучей. Оттого даже грусть и горе в музыке трогательны, привлекательно красивы.

Последний день провожу дома. Завтра в путь. Мне не грустно: манит неизведанное, завораживает. Где-то на той стороне земли большой город, там живут музыканты, говорят песнями, и сердце приголубливает неясная мечта… Хорошо ему в теплых ладонях надежды!

Мать собирает меня в дорогу. Додумывает, какой недохваток объявится на новом месте, чего еще недоглядела. Смотрит на чемоданчик. Не может он вместить всю материнскую заботу, не уложишь в него запасу на всю жизнь. Я надеваю прокатанный громыхающим рубелем постиранный костюм. Мать обтягивает его на мне, дергая за полы. Отец принес подделанные сапоги, смазанные дегтем.

— Примерь на онучу, — говорит он. — Пока до города доедешь, дух этот пройдет.

— Ладно ли нет ли срядили сына в люди? — оглядывает меня мать.

— Не на смотрины провожаем. Ко двору придется да ума наберется — сам сряд переменит. Дельная голова по своему усмотру тело обряжает. Вот справка от коммуны, деньги до места и на первую нужду. Обратных денег пока нет. Зачин излажен — конец доводи сам.

— Дело-то такое, — грустит мать на лавке. — Какой конец, где он? До него не меряно, не считано…

— Зачем едет, тому делу и надо конец выводить. А ты, мать, не квохчи тут, — сердится отец. — Дети — не мелочь, в карман не сложишь. Им ход нужен. Из окна мир не оглядишь.

— Когда они при гнезде, — сердце на месте, а как выпадет кто — заоглядываешься. Перепелка — птица малая, — а и та

своих сосвистывает. Вот не утерпишь и скажешь.

— У меня он тоже не лишний, не обочь полосы рос. Парень в годы вошел, под ногами не затрется.

Среди людских дел не сразу отыщешь себе трудовой уголок, не сразу приметишь то главное, с чем ты пришел на землю. Не мнет тебя горе, не застит печаль, а грусть твоя — это бегущие тени облаков. Если же у тебя есть хорошие мать и отец, а добрые люди оделили мечтой, — сколько солнца в мире! Запас неизведанных сил не умещается под небом, а в дальних далях на радуге под тучей цветут твои грезы…

Лес да поляна, два пня да вечернее солнце — куда лучше места для беседы! Здесь слово сказывается под думу, весит, льнет. Здесь остывающее небо в зеркалах омутков притихшей речки. Здесь кусты у берега на коленях допивают остатки блекнущей синевы.

Сидим с учителем на пнях. Он позвал меня на прощальную беседу, но молчит, смотрит на крутой хребет косогора, куда взбираются желтые березки.

— Осень расставляет свои факелы, — говорит он. — Жаль лета, но чарует и «…пышное природы увяданье». Вот так из века в век: постоянное обновление и полное прелести увядание.

Вижу, грустит учитель. Откуда такое на него наехало? Поспорить, доказать, убедить, возмутиться, загреметь — это его, а он грустит словами какого-то поэта:

Не скрыть седеющую прядь,
И на лице ночные тени,
Как изморозь октября,
Как первый желтый лист осенний.

— Зачем морок[47] натягивать, — замечаю я. — Вы же не старик?

— Ты это к чему понес? — резко оборачивается он ко мне, будто его под ноготь кольнуло.

— Грустят несчастные.

— Э, нет, батенька мой, тут ты не туда загнул! Несчастные горюют, а грусть — тонкое чувство человека. С ней надо бережно: можно и расслюнявить. Она должна быть светлой, очищающей, чтоб как вольный банный пар для тела. Мне не грех и растронуться. На грани моих лет следует оглянуться, чтоб узнать, сколько лет даром растерялось. У тебя уймища времени, только не думай, что оно тебе дано на потеху. Хочу посоветовать, чтоб тратил ты время, а не растрачивал, чтоб не исковеркал жизнь на безделушках, не превратил ее в бремя, не обвис бесполезным

грузом на плечах людей. Коммунары посылают тебя к музыке. Такого здесь еще не было. Не забывай:

Чьи здесь работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Заниматься искусством, наукой,
Предаваться мечтам и страстям?

Вспоминаю это четверостишие, взятое эпиграфом в книге Тимирязева «Жизнь растений». Читал ее по совету учителя, перекладывал главы, когда учился выуживать самую соль мысли. Тогда эпиграфа я не раскусил, а сейчас учитель положил его мне, как кирпич в руку.

Возвращаясь домой, часто останавливались, определяли левитановские, шишкинские уголки.

— Стой! Куда бежишь от красоты? — останавливает меня учитель. — Федору-чародею где отведем место?

Уже проступали за деревьями дома коммуны. Было решено, что Васильеву место только тут. Нашли место на лесной просеке, где среди решеток папоротника чернели большие пни-скалы. Сюда приносила григовская Сольвейг свою светлую грусть и пела лучшую песню земли.

— Ты обязательно узнай побольше про этого светлого и страстного норвежца. Чую я, что у него великая душа жизнелюбца! Краски его гармоний залетают даже и в наш лес. Приходи-ка вечерком и прихвати скрипицу. Я сегодня как-то обмяк, разбередился. Хочется музыки.

Вечером на квартире учителя на столе разложены ноты. За раскрытым окном закат, две скрипки поют баркаролу. За прудом перекликаются в загоне овцы, где-то наигрываются перед сном ребятишки, и зовет женский голос:

— Апрошка, хватит бегать! Ужинать собрано.

Дед Афанасий вышел к амбарам, смотрит сквозь стволы берез на зарю. На музыку к нам заходит Алексей Зайцев, слушает у порога, подбодрив на боку руку.

— Какую-то хорошую штуку разыгрываете, — замечает он. — Такой не доводилось слышать.

— О, Абрамыч объявился! Пролазь к нам, садись и приобщайся. А штуку эту, братец ты мой, мог создать только Чайковский. Ему одному по плечу простота, напевность, проникновение. Не слыхал, говоришь? В мире люди столько сотворили прекрасного — века надо жить, чтоб всем насладиться! Садись, распахни душу и внемли.

Много в этот вечер поиграли, что нам было по силам, и

порассуждали.

— Вот ведь дело какое! — разводит руками Алексей Абрамович. — Наслушаешься музыки — просветление, обновление какое-то в тебе получается: вроде веником в себе хорошо промел.

— А, проняло, за печенку ухватило! — смеется учитель. — Раз настроился — давай к столу. Петь будем!

И запели:

Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля,
Тебе поем мы песню,
Вечерняя заря.

Пели из Мендельсона и Глинки, а на дуэт из «Пиковой дамы» учитель потребовал жену.

— Марья, Марья! Да бросай ты к черту свои сковородки с горшками. Лиза требуется!

Вечер закончился трио «На севере диком». Пили чай, когда уже на окнах огрузла ночь, а небо загустело звездами. На крыльце, провожая нас, учитель досказывал разговор, начатый за чаем, тыкал меня в плечо пальцем, чертил рукой по звездам.

— Там всегда солнце, оттого они и светят. На земле тоже надо светиться. Больше смотри, слушай, успевай узнавать. Каждому отводится времени не густо — зевать некогда. Про это еще некогда в Риме Сенека заметил: «Жизнь долга, если она полна». Надо быть вроде прессованного мяса: возьмешь крошку, а пожуешь — полный рот. Не таю греха, поругивал вас изрядно. Бывал свиреп, бесился, что у самого не хватало сил да умения, а дума была одна: выходить вас. Жалко смотреть на коряжник по завалам. Добрый лес там мог вырасти, а не поднялся. Поезжай в дальние края за нужным делом.

Утро следующего дня. Короткие сборы, бричка с толстым деревянным ящиком, пара коней — Руслан да Задумчивая, — с которыми вышагивал в поле за плугом; коммунары, случившиеся мимоходом.

Все-таки немного грустно сходить с крыльца родного дома: столько на нем свежего утреннего солнца! Усаживаюсь на возу. Мать обхватила руками край ящика. Она смотрит-насматривается на меня, а в глазах тревожно. Молчит, знает, что в такие минуты около слова слезы живут. Возница умостился, подбирает вожжи.

— Не сплошай там, сынок, — говорит мать на прощание.

— Не затеряйся, сердешный, — пахнул теплом чей-то женский голос.

— А и не диво, — резонно замечает Анна Бочарова. — Мой мужик сказывал — люду в том городе, как мурашей натрясено! Переступить опасно.

— Человек — не иголка: западет — голос подаст, — говорит Никита Иванович. — Не стращайте парня. Ему какую дорогу одолеть надо. Чего без дела до смерти ногами дрягать! Сплясал бы на проводинах, да кила к ненастью урчит.

Шутка рассмешила присутствующих. Федор Сашин шлепнул вожжами по коням.

— Поехали в Москву за песнями!

— В добрый час, в добрый путь! — послышались голоса.

— Да не робей! Там, слышно, слезам не верят!

Рысят кони, стучат колеса, чертит дорога по ложкам, по пригоркам. Выбегают на бугорки стайки желтых березок — до свидания! Катит бричка вперед и вперед, а сзади, за занавеской леса — мать, отец, учитель, коммунары… До свидания, отчий дом! С чем вернусь к вам, родные края?..

В Москву за песнями

Четыре дня мчался поезд к далекому городу, четыре ночи проплыли за вагонными окнами. Темная земля была вышита огоньками невидимых деревень, встречных полустанков. Где-то около Урала въехали в удивительный закат. Паровоз стоял на станции, смотрел большим глазом на буйную роспись неба, от восхищения дул белым паром в рельсы.

Моим соседом оказался словоохотливый старик, волосатый, как уросший неразбороненный пласт. Он несколько раз рассказал мне свою родословную на четыре колена.

— Корень роду нашему идет из глыби и все по крестьянскому делу. Сколько земли перепахано, батюшки! Несчетно борозд проторено. Составить бы их в одну — на край света достанут. Ухрякался на своем веку — страсть! Выпахался до края. Еду в Москву повидать внуков. Большой это город, людный, всякую всячину добывает. Домов понагрохано, и все ряд к ряду! Как такую тяжесть земля несет?! Прогнулась она в том месте, не иначе. Только звону уж не стало. Бывало, вечером загудит, — не знаешь, в какую сторону креститься. Теперь дело пошло к другому краю. А и то сказать: чего без дела по лбу рукой шабаркать? Прибытнее намотать полуморок.

Моросил мелкий дождь. Было мутно в небе, сыро на земле, но уютно в душе, может, оттого, что дед напоминал Паню Дубка. Поезд ходко вез нас мимо тихих островов леса, глинистых распаханных пашен. Дед мял в руке бороду, стучал по стеклу толстым ногтем.

— Густо живет тут народ. Деревень-то, как кто обутками в ненастье наследил. Здесь за день в десяти деревнях побывать успеешь. У нас в Сибири не так: пока до чужой деревни шагаешь, на язык наступишь. Что сидеть друг на друге да через полоски перешагивать? Ехали бы к нам. У нас от межи до межи хоть вприскочку бежи, а припасу не возьмешь — за неделю не дойдешь. И земля нашей не родня, не под стать. Видишь, натружена она тут испокон. Изродилась-испотужилась, сердешная. Нет того соку, как у нас. Ты вот крестьянского роду, а куда от земли-то побежал? За какой корыстью едешь? Учиться?

Дед замолчал. Брови его прыгали поплавками на ряби.

— По стоящему делу учиться собрался, али так себе?

— На музыку!

Деду кто-то сразу поставил другие глаза да засунул их так далеко, навесив козырьки надбровий, что не сразу я заметил холодные бусинки зрачков. Два самострела прицелились в меня из глазниц.

— Мать-то с отцом куда глядели? Они небось собираются за тебя всю жизнь по борозде ходить?

— Мне учиться охота, — сказал я, подыскивая доводы да покрепче, чтоб раздвоить деда на половинки, как запрелый березовый комелек, но побоялся обидеть: старик обещал расписать, как на ладони, то место, куда мне в городе надо попасть.

— Тот воно, учиться. Добро бы чему дельному, а то на

музыку! Изучишь какой гудок, заиграешь, а хлеба-то от этого не прибавится. За куском пойдешь к крестьянину. Он за тили-лили не дает. Ты произойди такую науку, чтоб земля от хлеба огрузла! — наступает на меня дед. — Узнай, какая трава лучше на прокорм скоту, какая — на лекарство. Это — дело! Кабы музыкой колеса вертеть. Кабы сел да ударил в бандурку — телега воз сена сама привезла! Тот воно.

Дед повернулся к окну, затих, вроде полинял. На вытянутой худой шее била крупная жила.

— Пора собираться. Город наплывает. Эка, как славно разговором дорогу скоротали!

На вокзальной площади дед толковал, как мне добраться до места, чтоб народом не затерло.

— Иди с бережью. Тут вон как народ бегает — знай ноги подбирай. Иди на башни с орлами, а там уж рукой подать до твоих гудошников.

Приглядываюсь к людскому потоку, слушаю шум города. Ушел дед — оборвалась какая-то родная ниточка. Кинул-бросил меня старик в каменное море домов, на подхват людской волне. Чтоб не проглядеть башни, отправился пешком на орлов. В потоке людей и машин вертело меня щепкой. Все спешили, друг на друга не глядели, не здоровались. Кружит, втягивает водоворот огромного города. Сейчас он втянет меня в узкий проулок, прижулькнет к серой громаде стены. Тогда люди, наверное, остановятся и скажут: «Тут так-то. Знай кузькину мать!»

Долго добирался до консерватории. Робко открыл дверь, ступил на разрисованный пол. Женщина в халате гоняла сырую тряпку по коридору. Я стал ждать, когда она обратит на меня внимание. Ждал долго.

— Здравствуйте, — напомнил я о себе. Она нехотя взглянула, повернулась спиной, громко сказала:

— Никого нет, занятия кончились, — и погнала свою тряпку в дальний конец, откуда вышел толстый седой человек, Я уже собрался обратиться к нему, но оторопел, увидев лицо, знакомое по нотным изданиям. Язык мой онемел. Мимо прошел композитор Ипполитов-Иванов. Ведь его отрывки из «Кавказских этюдов» наигрывал учитель на скрипке! Живой композитор! Чудо или сон? Вышел наружу. Двор был пуст, за решеткой ограды текла людская река, сияли уличные фонари. Идти мне некуда. В глубине двора — закоулок с мусорным ящиком, за ним — груда хрустких стружек. Расположился, начал коротать ночь. Края высоких стен вырезывали прямоугольник ночного неба. Забываюсь коротким сном, вскидываю глаза. Наплывает ковш Большой Медведицы, зачерпывая звездный бисер.

Утром долго простоял в коридоре, не решаясь зайти в дверь с непонятной табличкой «Ректор». Все ждал, что кто-нибудь опросит, по какой надобности я здесь. Старые и молодые, с чехлами на каких-то инструментах, проходили и уходили, собирались группами, почтительно расступались, приветствуя, видимо, уважаемых и важных. Я думал, что тут, должно быть, много профессоров, и уж им-то не до меня. Мимо прошел сухой старичок с седой шевелюрой, похожий на Грига. Позднее мне стало известно, что это пианист Гольденвейзер. Выждав, когда перемежился народ, решил прибегнуть к помощи уборщицы. Она несла корзину с бумагой.

— Здравствуйте. Кто тут председатель?

— Кого вам? — удивленно посмотрела она на меня.

— Мне бы к председателю. Я учиться приехал.

Уборщица поставила корзину. Ее что-то заинтересовало.

— Из деревни?

— Из Сибири.

— Как же вы из далеких мест сюда добирались? На собаках или на оленях?

— Нет, у нас собаки не возят.

— Говорят, у вас там мороз страшенный. Земля за лето отходит?

— Отходит.

— Солнце летом греет хоть сколько?

— Жарко бывает.

— Медведи в деревню заходят?

— Да нет, они у нас не бывают.

— Ну, тогда ты не из самой Сибири, — заключила уборщица, потеряв ко мне интерес. — В эту дверь иди и спрашивай.

Сложил в уголок пожитки, потянул дверь, где был неведомый ректор. Надо входить, а ноги не хотят, будто бьет в створку высокой двери тугой ветер, отшибает меня, как мякину из веялки. От страха даже немножко в сердце больно.

Ректор принял меня просто, посмотрев на мою одежду, сказал сидящему в креслах Григу-Гольденвейзеру:

— Вот откуда стали прибывать. Музрабфак должен послужить широкому музыкальному образованию.

Прибывших поместили в классе № 28, заставленном железными койками с матрацами, и объявили, что тут мы будем жить, пока сдаем испытания.

Началось знакомство. Ребята были тертыми калачами, жили в городах и городках, бойко судили о музыке, называя имена неизвестных композиторов, насвистывали, напевали, по-моему, здорово, романсы, арии и веселые песенки. Трубачи «давали

звучка», певцы выводили замысловатые рулады, хвалили «металл» в голосе, громко хмыкали, держа в щепотке переносицу, пускали «петуха» на высоких нотах. Я ничего не смыслил в этих премудростях. Жадно слушал, набухал, как губка, мнениями, именами, терминами и, наконец, так раскис и отяжелел от всего услышанного, что стал подумывать о горькой своей бесталанности. Завязывалась дружба. Я чувствовал, что на меня никто не позарится, потому ожидал себе в друзья такого же незнайку из деревни.

Начались испытания. Тут я впервые увидел рояль, выстукивал по черной крышке заданный ритм, определил, когда произошла модуляция из мажора в минор. От напряжения в голове стало жарко, а когда вышел из класса, в ушах забулькало, пронял пот, будто я постоял под вилами у стога в сенокос.

Последнее испытание было по политграмоте. Успешно сдать ее помог случай.

Утром я знакомился с улицами города. Дошел до площади, прочитал на красном здании вывеску «Моссовет». На площади стоял обелиск. Решил рассмотреть его и увидел высеченную надпись под заголовком: «Конституция Союза ССР». От нечего делать принялся рассматривать статьи о правах и обязанностях граждан. Утро светлое, Тверская улица изнемогает от людей и машин. Около обелиска спокойно, никто не толкает. В кармане у меня домашние сухари. Жую их и читаю Закон. Несколько раз обошел кругом, удивляясь искусству письма по камню, пока не услышал за спиной голос:

— Гражданин, не задерживайтесь, проходите.

Сильно напугался я милиционера. На онемевших ногах перешел улицу, втиснулся в толпу и стал думать, что это за место, откуда меня прогнали?

За столом важно сидит слепой человек, последний профессор, которому надо отвечать. Он спросил, кто ему отвечает. Деревянной палочкой-шильцем (такой инструмент дед Бушуй называл сапожной «наколюшкой») потыкал в толстую бумагу и предложил мне рассказать о Конституции. Я обрадовался легкому вопросу, выложил все статьи, что были на обелиске.

— Хорошая память, — сказал экзаменатор, — знания свежие. Так мне никто не отвечал.

Взят последний барьер, настроение боевое! Вышел из класса, грузный от счастья, долго простоял у окна, не знал, куда деваться от радости. Хотелось в эту минуту «Всю природу в свои объятья заключить» и вышедшего из класса последнего профессора заодно. Но какой-то студент подошел к нему, ткнул пальцем в

живот слепому профессору, спросил:

— Сашка, как житуха? Чего ты тут околачиваешься?

— Новичков экзаменую, — ответил тот, — дури им гоняю. Дрожат, заикаются, плетут околесицу.

Профессором оказался студент старшего курса Сашка Пелевин.

В учебной части нам объявили, что занятия на первом курсе откладываются на месяц. От этого известия я похолодел, лишился языка и не вышел из двери, а как-то тихо вывалился. Сел в уголок на скамеечку и начал горевать. Что делать? Как прожить-скоротать этот страшный месяц? Домашние сухари на исходе, денег хватит на неделю, о поездке домой нечего и думать. Выхода не было. А если есть один раз в день? Тогда остаток денег можно растянуть на три недели, а одну неделю авось…

В вестибюле оживленно говорили принятые, радовались, собирались махнуть домой до начала занятий. Я высматривал, нет ли среди них такого, кому тоже некуда деваться? Такого не нашлось. Скоро класс-общежитие опустел. Я остался один.

Рядом был хлебный магазин. У входа постоянно стоял какой-то калека, протягивал трясущуюся руку. Ему иногда подавали кусочки-довески, он тут же их съедал, снова трясся и просил, глядя на людей пришибленно, по-собачьи. Хлеб отпускали по карточкам, не всякий был щедр, а он просил:

— Подайте крошку.

Сегодня он опять просит. Мне тоже хоть протягивай руку. Как объяснить людям, что молодому стыдно просить, но трудно, когда ешь один раз в день. Кому помочь за кусок? И счастье меня нашло! Подъехала хлебная повозка. Хроменький старичок принялся выкладывать булки в корзину. Запах свежего хлеба изранил меня.

— Дедушка, я помогу?

— Таскай, когда охота. Откуда ты такой?

Ношу корзину с хлебом, рассказываю, а старичок удивляется:

— Вот, елкина мать, откуда тебя принесло! В науку ударился.

На дне выгруженной повозки россыпь крошек. Я прошу их, а дед не дает.

— Не годится мусором кормить человека. Погоди. — Он вынес из магазина два куска хлеба. — На-ка, студент. Только куски-то сухие.

— Размочу! Спасибо. Я и завтра помогу!

Вот и хлеб! Не пропаду. Поддержал старик. За это я помогал ему около всех булочных на улице Герцена.

На старших курсах Музрабфака начались занятия. Попросился вольнослушателем в класс композитора Виктора

Белого. Удивился тому, что в музыке, оказывается, существуют задачи по гармонии, и надо уметь решать их! Красота созвучий раскладывалась на ступени. Все это было скучно, тем более, что на каждом шагу подкарауливали назойливые музыкальные «паразиты» — параллельные квинты да кварты.

Знакомство со Славкой Расторгуевым — подвижным, веселым толстяком, с проступающей на макушке лысинкой, знающего всех знаменитостей в консерватории и черный ход в Большой концертный зал, — хорошо выручило меня: стал есть три раза и мог слушать концерты. Он взял меня помощником по настройке роялей и пианино. На какие только окраины города нас не заносило! Когда же появились афиши о предстоящем органном концерте Гедике, Славка и тут был у дел.

— Хочешь посмотреть и послушать самый большой орган?

— Хочу.

— А чудо-старика — Александра Федоровича, — который добрее самого бога?

— Хочу.

— Утвердили!

На концертах Гедике Славка всегда дежурил в органе, а теперь мы орудуем там двое. Поют высокие трубы прелюдии и фуги Баха. Горным водопадом низвергается в зал не слыханная мной музыка… С высоты органа, сквозь трубы, вижу далеко внизу пятна лиц, а на стене — портрет Баха, в белых кольцах парика. Удивительная музыка могучих сил и чар природы — горных хребтов и голубой дымки, размаха громов и сияющей глубины неба!

И покатилась студенческая жизнь. Начались занятия, появились новые приятели. Скудная стипендия уходила на рацион, и все-таки молодому было тощевато. Искали заработка. Переписывали ноты, проводили ночи под прожектором на киносъемках. Не сразу угодишь режиссеру, как ни пройди — все не так. Знай кричит:

— Не годится, снова! Живей шевелись: столбы и без статистов можно заснять!

Начались морозы. Приятели устроили меня статистом в театр «Эрмитаж», где в костюме казака участвовал в разгоне рабочей маевки в пьесе «1905 год». Наблюдал игру Ванина и Розена-Санина.

За потрепанные домашние сапоги и негородскую одежду прозвали меня приятели Каллистратом в честь первого композиторского опуса на стихи Некрасова. В театре я свои сапоги снимал, а под казацкие лампасы надевал бутафорские, хорошие, лучше моих. Приятели намекнули и, окружив меня

табунком, вывели после спектакля уже в других сапогах. В этот же вечер отметили «удачу» в буфете закуской и стихом:

Мы помним прибыль и утрату,
В буфете чай и пироги,
И как в театре Каллистрату
Раздобыли сапоги.
Носи-ка, Каллистратушка,
Казацкие, с подковами!
Да сочини ребятушкам
Хоть песенку толковую.

Однокурсник Попов устроил меня статистом в Малый театр. Театр готовил к постановке пьесу «Дон Карлос». В течение месяца шли ежедневные репетиции. Здесь я получил некоторое представление о труде актера на сцене. Придирчивый режиссер, сидя в полутемном зале, часто останавливал разошедшегося исполнителя:

— Играете, а надо жить! Убедите зрителя, заставьте поверить. Снова.

Сцена разыгрывалась снова. Уже сколько раз артистка Гоголева эффектно падала и катилась по лестнице, но и она устала: «Господи, да у меня уже синяки на боках!»

В эту зиму в Малом шла пьеса «Любовь Яровая». Роль Шванди вел артист из Киева, а Яровую исполняла Пашенная. В этой постановке мне пришлось поусердствовать в облаве на собравшихся в школе у Яровой. И как-то так получилось, что я оказался рядом с поручиком Яровым, к которому вышла Яровая — Пашенная. Приблизившись к нам, она узнала мужа-предателя, открыла такие глаза, налитые недоумением, гневом, болью, что я растерялся, забыл, какое выражение лица мне надо держать по ходу сцены. Помощник режиссера сказал после спектакля, чтоб я не высовывался на передний план.

Миновала зима, заполненная занятиями в классах, случайными приработками, слушанием концертов на галерке. В город вошла весна. Трудно оживить каменные горы домов, пробудить траву, замурованную под булыжником. Если и выбьется она зеленой щеточкой меж камней, придет дворник, выщиплет и бросит в мусорный ящик. Иди, весна, к нам, на Алтай! Там в бурых метелках берез ходит теплый ветер, полощет шматочки ветрениц на стволах, земля с хрустом потягивается и парит. В западях-логах последние лоскутки снега припали к земле пугливыми куропатками и булькают светлыми ручейками. Залетали мухи. Когда же я увидел первую бабочку, порхающую у

глухой серой стены, захотелось в деревню, в поле. Стать бы ногой на зыбкий черный пласт, на теплый бугор с подснежниками! Ухо наполнилось красотой, созданной искусством человека, теперь захотелось поласкать глаз первозданной красотой природы.

С большой охотой принял предложение знакомого статиста из театра поехать под выходной куда-нибудь за город. Уж постою там всласть на пашне под небом, где «…вешних жаворонков пенья голубые бездны полны».

Поезд постучал колесами и остановился. Впереди деревенька облепила домами холм, напоминающий голову медведя, припавшего попить к блюдцу-озерку. Присели с приятелем под кустик, опрысканный молодой зеленью. Так часто сиживали когда-то на склонах логов с Паней Дубком. Старик глядел на играющих ягнят, жевал кусок, припивая березовкой через сухую дудочку, прикладываясь к надрубленному стволу, как к окладу иконы.

— Ягнатишки — те же ребятишки. Всякая живность до поры играет. Вот притча, боль те хвати, — смеялся Паня над ягнятами. — Торкают в землю ногами, сколь высоко прыскают. С пружинками они у них! А мои? — Паня трет ладонями шишки на коленях. — Из моих все пружинки повыпадали. Некогда было дураку оглянуться да подобрать. Не отпаришь теперь и в сенной трухе. Сам уж трухнуть стал. Народиться бы заново…

…Я снял фуражку, чтоб полнее почувствовать воздух, тишину, но приятель спугнул это «чудное мгновение»:

— Давай о деле. Я хочу здесь заработать, а ты поможешь мне и получишь свою долю. Твои «казацкие с подковами» уже разлазятся, пиджачишко тоже смены просит. Я проведу в этой деревне вечер фокусов и гипноза. С гипнозом не всегда получается. Тебя взял на случай. Твой вид здесь ни у кого не вызовет подозрений.

Дальше было сказано, где сидеть до условного знака, что со мной будет сделано и как вести себя под неотразимой силой гипноза.

— Это будет коронный номер, — утверждал приятель. — Оставайся до вечера здесь, а я пойду готовить представление. Друг друга мы не знаем, ко мне не подходи, до вечера в деревню не показывайся.

Он ушел. Уж не жулик ли? А если догадаются, поймают, намнут хребет? Сбежать, пока не поздно? А денег на билет нет! Невеселые думы заворошились и погнали в поле. До вечера промаялся, а в назначенный час вошел в село, сел в летнем театре в условленное место.

Фокусы прошли удачно. Я дивился искусству приятеля, со

всеми хлопал в ладоши, ждал страшного момента. Начался гипноз. Зал притих. Не думал, что в тощем приятеле кроется такая сила. Сначала он взялся за ребятишек. Канопатенький мальчишка не сразу поддался, но, похлопав веками, прижмурился и затих. Его отнесли на стуле в глубину сцены досыпать, а приятель колдовал уже над другими, и вот трое ребят мирно посапывают рядышком на стульях.

— Ну-ка я, — сказал красноармеец, поднимаясь на сцену.

Сзади слышу чей-то тихий разговор:

— Этот скоро поддастся. Солдаты встают рано, целый день на ногах. Сейчас он его приголубит.

Кто-то из мальчишек тихо всхрапнул, а солдат смотрел гипнотизеру в глаза, не мигал, не засыпал. Приятель отпустил его и сказал, что истории гипноза известны железные натуры. Пусть публика не волнуется, будет еще попытка. Он поглядел в мою сторону, а я примерз к скамейке.

— Желающий!

Надо было подниматься на сцену, так как могла изъявить желание новая «железная» натура, тогда не избежать конфуза, а то и скандала. Вначале я тоже не поддавался, как мы условились, но после одного «магического» приема закрыл глаза и изобразил сон. Двое парней поставили меня «сонного» на ноги и после того, как гипнотизер «заморозил» мне мышцы, положили затылком и пятками на кромочки стульев. Было объявлено, что по такому окостеневшему человеку-мосту можно ходить. От этих слов меня и в самом деле прохватил мороз. Вдруг не выдержу и рухнем с позором!.. Гипнотизер пошел. Мои пятки и затылок влипли в стулья. От напряжения я совсем оканемел. Зрители в восторге от последнего номера. Разгипнотизированный, спустился в публику. На выходе какой-то военный спросил:

— Ты, парень, не на паях ли с ним работаешь?

Сердце екнуло. На улице окружили ребятишки. Пошли расспросы, рассказы, что вытворял со мной гипнотизер. Военный отстал. Теперь надо отвязаться от восторженных маленьких спутников. Прибавил шагу — догоняют, допытываются:

— Дяденька, где живешь?

— Мне в эту деревню, — махнул я рукой куда-то.

— О, а мы не все рассказали!

Я шагнул с дороги и пошел в темное поле. Когда голоса замолкли, а в деревне уже спали, сосвистались с приятелем на окраине и отбыли в город ночным поездом.

Вот ты какая, музыка!

Тридцатые годы в музыкальной жизни, по моим представлениям, — были годы попыток создания нового музыкального языка, красок, чувств. Рождалась массовая песня. Никто не знал, какая она должна быть, но ее ждали, она просилась в демонстрацию, чтоб бодро прошагать с народом в дни праздников по площадям и улицам города и села, сменить славно послужившие песни революционных лет. На улицу выносились песни, порядочно устаревшие, без огонька, без

звонкого пульса и боевого дыхания. А мир опять опахивало смутной тревогой далекое очертание военной грозы.

Мы были молоды, в небе ходило солнце, не смущал сквознячок, потягивающий с чужой, неспокойной стороны, не думали, что зазвучит предостерегающая песня: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». И достигла гроза, затмила свет. Встали мы в шеренги бойцов за жизнь, подняв, как знамя, суровый напев: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой».

Но мы были молоды, одевались в песенный наряд своего времени, прихватывали из старого гардероба по капризу невзыскательного вкуса такой обветшалый, пропыленный наряд, что рябило в глазах от месива мод, пестрых красок, завывания, говорка. С разных мест пришли мы с музыкальным добром — от кантилены до стона, от народной песни до звуковых вывихов джаза, от чувства, разбуженного содержательной музыкой, до забав и игры в звуковые комбинации. Все, что просто и ясно, не привлекало, но если нотный стан, как из пригоршни, уляпан сорокаэтажными аккордами, — считалось значительным, сложным и важным, равным закону всемирного тяготения. Лирику выставили в коридор общежития. Музыкальные опыты такого характера расценивались, как желание побрякать под Чайковского, а перебрякать его у нас не хватало сил. Своими музыкальными вкусами порядочно наследили мы в учебном заведении, где хранились традиции старых мастеров.

Сам я, нагруженный мнениями товарищей, обожженный вспышками споров в общежитии, не мог составить самостоятельного суждения. Привлекало новое, не совсем понятное, угловатое, но и старое, среди которого для меня была уйма неизвестного, тоже привлекало. Пренебречь одним композитором, поставить другого на высокую волну времени… А есть третий, и сколько их! Каждый по-своему задевает.

Кто-то в спорах назвал музыку лекарством души. Приняли это за шутку, автора выражения прозвали «музыкальной пилюлей». Мне вспомнилось, как в коммуне плясун Никита Иванович однажды растирал мазью больную ногу.

— Какое это лекарство: не щипит, не дерет, должно, выдохлось. Никакого от него действа!

— Тебе бы сейчас бандурку, — заходил бы с присядом, — сказала его жена.

— Вот бы славно! Всю недуж сдернул бы! Это тебя, толстокожую, ничем не пробуравишь.

Музыка — тонкое искусство, но какое-то неточное дело. Труд музыканта представлялся мне развлекательным, создающим

людям минутное настроение, как конфетка, пока ее сосешь. Польза дела всегда связывалась с видимым результатом. Возьми лопату, выкопай яму, затрамбуй столб — дело видно! Как же узнать, какого композитора надо похоронить, а какого выкопать? Какой нужен ко времени и почему?

Так думалось, а тем временем, не внимая нашим спорам и мнениям, в театрах жили Бетховен и Чайковский, Скрябин с Бородиным, и сыпал радужный бисер мелодий Моцарт. Какого труда стоило нашим учителям сбить с нас ракушечник, срезать бородавки нездорового вкуса, повернуть лицом к новому и напомнить о корнях, что питают настоящее искусство!

Настоящее искусство… Какое оно? Среди половодья песен, песенок, романсов, фокстротов, танго, блюзов, симфоний, — как проплыть до берега, не захлебнуться? Одни сосут «музыкальные леденцы», причмокивают да похваливают, другие в полумраке концертного зала заворожены блеском симфонических слитков, полных мысли и страстей… Почему в океане времен из многочисленного племени музыкантов остаются могучие айсберги, переплывающие из одной эпохи в другую, а куда исчезают остальные? Зачем они трудились, почему сгинули? Почему люди в поисках истины и красоты обильно сорят? Почему музыкальные сорняки обильно цветут, ослепляют глаза? По мелкодушью ли самих потребителей яркого, но сомнительного товара? А есть ли уверенность, что плевел не роняет семени?

Обуревают голову вопросы, сшибаются мнения — разбирай, выбирай… И почувствовал я, как нелегок путь у музыки и что она выше забавы.

На уроке композитор Александров втолковывал нам основы построения музыкального произведения. Заспорили о значении формы и содержания. Одним казалось, что форма не так уж много значит, что доброе вино можно выпить из черпака, другие утверждали, что без формы камень-самоцвет — галька. Учитель внимательно выслушал нас и сказал, как подул на больное место:

— Спорить полезно, но дело-то в том… учиться вам необходимо. А то, чего доброго, начнете в цветочную вазу щи наливать. Вот какое дело-то.

Не всем был ясен смысл слов о вазе и щах, потому мы после уроков решили уточнить его.

— Чего это он о щах речь завел? Какой-то прозрачный намек на темном фоне.

— Ваза — это произведение искусства, а щи?

— Щи — тоже произведение, только кулинарное.

— Их же не совместишь!

— Он и намекнул, чтоб стало ясно, отчего щи наливают в

тарелку. Щи — содержание, тарелка — форма. Вот тебе гармония формы и содержания!

— Нет, я угадал! Мы заспорились. Митингуем о новой музыке, а какая до нас написана — толком не знаем. Он намекнул, что надо учиться, а не петушиться!

— Ведь верно, — закукарекались мы. Учитель опасается, чтоб не засалили музыку щами, не напихали в вазу мусора. Учиться надо, и серьезно!

Артистично посек нас Александров! Не больно, не обидно. Примолкли ребята, навострили уши. Я тоже остро почувствовал, как надо много знать, прежде чем заговорить музыкой.

Сверстники уже обладали навыком игры на фортепьяно, а мне приходилось начинать с азов. Мой учитель Николай Николаевич Кувшинников два урока освобождал кисти рук, заставляя стучать по крышке рояля. Эти же упражнения проделывал я в общежитии, старательно в уголке молотил по своим коленям, чем вызывал колкие насмешки товарищей.

— Эй, дровокол, — язвил кто-нибудь, — опять размахался! По твоим рукам самый выгодный инструмент — колун: в любой котельной на хлеб заработаешь.

— Катись к дьяволу, — огрызался я.

Припекала обида, поднималась злость на свои неуклюжие руки, на толстые пальцы-увальни, попадающие взалом между черными клавишами. А тут еще и названия музыкальных вещиц покалывали самолюбие. Взрослый парень выбивает по клавишам «Верхом на палочке», «Болезнь куклы», «Марш оловянных солдатиков». Когда садился заниматься и открывал ноты, то уже готовился к очередной колкости. Сейчас студент Воробьев, ядовитый, как Никандра-пастух, сунет за ворот насмешку-колючку. Слышу, как притихли в комнате. Насмешник подходит сзади, объявляет, как со сцены:

— Следующий номер «Вы-ер-хы-ом на пы-а-лочке», — читает он, как толстовский Филиппок. — Неповторимое исполнение потрясающего виртуоза! Спешите слышать, как сибирский Лист осиновый едет к больной кукле верхом на палочке!

Я стал готовить уроки в классах, когда они временно были свободными. Дежурил в коридорах, слушал скрипачей, пианистов, тромбонистов. Так я кочевал из класса в класс. Надо было обогнать время, узнать, что можно сделать, отбиться от насмешек.

…Вспомнилось, как когда-то в коммуне учитель, радуясь успехам маленьких музыкантов, говорил взрослым в шутку:

— Похоже на то, что если зайца часто бить по ушам, то можно научить его зажигать спички!

Эта шутка означала еще и то, что за лень, нечистый звук будет припарка — очередная правка уха. Взрослые толковали эту шутку шуткой. Прасковья Фроловна, медлительная, как речка Журавлиха, смеялась женщинам:

— Издивуешься, бабы, да и только! Ухо-то надо править, как больное брюхо.

Память человека скапливает и хранит мудрость пословиц, шутку-искорку, вспыхивающую солнечным зайчиком в живой беседе. Хранится такое добро про запас, к своему часу. Приходит он, веселый или грустный, подымет из кладовой памяти придремнувшее слово-самоцвет, положит его человеку на темя, и просветлеет голова.

Что-то похожее произошло и у меня от этой шутки. Зайца выучивают, а уж я-то должен научиться! Пусть лопнет небо с севера до юга! Садись за инструмент, начинай с азов, как дети делают первый шаг от лавки.

Как-то (да уже первые сосульки стали прорезываться) выдавливал на клавишах урок в классе. Заметил небольшие успехи, и зубастый зев рояля не так уж стал страшен. С морозных крыш в класс пробрался утренний луч, повис на двери мерзлым полотенцем. Подняв глаза, увидел женщину. Она улыбалась полным лицом. Повязанная солнечным лучом, казалась очень знакомой. Такую видел когда-то в сельской церкви, где жили дед Бушуй и богородица. Это была преподавательница Лия Моисеевна Левинсон. Я вскочил, захлопнул ноты.

— Занимайтесь, есть еще время, — сказала она, но я решительно не хотел показывать свой репертуар.

Пальцы ее побежали по клавишам, а те послушно заныряли бойкими утятами, на что рояль отозвался обилием звуков, зажил, заговорил, заплескал искристыми струями мелодий. Звуки кипели, рокотали, били вверх из-под приподнятого черного крыла инструмента… Это Лист рассказывал о фонтанах виллы Эсты. Как могли небольшие руки исторгнуть столько звуков, в неутомимом полете цепко выхватывать брызжущие аккорды. Музыка окончилась, преподавательница опросила:

— Нравится? Что вы разглядываете свои руки?

— Не для музыки они. Клавиши-то надо со шпалу.

— Вот как! — засмеялась она. — Голова должна быть для музыки, а играть и эти руки могут. Работать надо много, и пальцы побегут.

Это было для меня напоминание шутки о зайце. От усиленных тренировок дело заметно подвинулось. Насмешки прекратились. Победа!

Разыскивая класс для занятий, забрел в концертный зал. Там

заканчивалась гражданская панихида по умершему певцу Григорию Пирогову. На сцене покойный лежал среди венков. У рояля Александр Пирогов пел «Судьбу» Рахманинова. Полумрак зала, какая-то могучая тишина, мертвый певец и музыка… Брат брату поет в последний раз, на вечное расставание. И припомнилась мне другая смерть, впервые увиденная детскими глазами.

Тихий дядя Егор с теткой Авдотьей одно время жили вместе с нами. Была у них девочка Нюрка, моего возраста. Мы часто играли в темных сенях, пугали друг друга, нарядившись в вывернутые шубы. Нюрка была красивая, статная, с картинки взятая. Когда учитель читал нам в классе «Руслана и Людмилу», я представлял дивную Людмилу, похожей на Нюрку. Дома изображал коварного Черномора, загонял Нюрку в кладовую, грозил не выпускать до ночи. Пусть пленницу едят мыши! На шум выходили старшие. Девочка хватала у меня с головы шапку, мигом исчезала с крыльца. В зимних сумерках начиналась погоня Черномора за Людмилой вокруг домов-теремов.

Нюрку сразу выбрали царевной, когда готовили пьесу «Ивашкина счастье». Учитель строго велел выучить роли. Первый спектакль играли с подъемом. Взрослые следили с детским вниманием за живой игрой школьников. Нюрка-царевна покорила всех.

— Егор-то наш, — говорили коммунары, — шагни в сторону — потеряешь, а девчонка — чисто из царских. Пройдет — взвосияет!

Да вот пристала же беда к ней: прилип какой-то жар, испеклась-извелась, опалило всю. Тетка Авдотья сказала, что не иначе как повертуха, а то и от дурного глаза бывает такое на ребенке. Долго ли изурочить, когда она вся из хрящиков.

Врача в коммуне в то время еще не было, потому стали сами пытать, отчего болезнь. Топили воск, лили в чашку с водой. Он застывал в причудливых изображениях, напоминая человека, но неясно, не определишь, кто в коммуне с дурным глазом.

Перед утром крепок сон, но я услышал сдержанный плач. Тетка Авдотья держала Нюрку на руках, а она билась, выгибалась, звала мать.

— Я с тобой, дочка, с тобой, — дрожал слезный голос тетки. — Отец вот он, тут…

А у Нюрки уже руки повисли, пальцы сжимаются, запрокинулась голова. Мать положила ее на колени, сломалась над ней, громко заплакала.

— Царевна моя. Растаяла-улетела…

Дядя Егор стоял босой, смотрел в угол и повторял:

— Авдотья, ты… — и больше ничего не мог сказать.

Мне было страшно. Рассвет поглядел в синие окна, а Нюрка уже перестала жить, сгорела до солнца. Днем унесли гроб на полотенцах к высоким соснам, и появилась первая могила коммунаров. Светлую детскую дружбу оборвала смерть, но над памятью живых она не властна.

Свое горькое горе выразил я в стихах и весной прибил гвоздиком к кресту на могиле листок бумажки.

Под сосною, под крестом
У тебя печальный дом.
Ветер ходит-говорит:
Тут царевна Нюрка спит.
Я тебе хочу сказать:
С кем на сцене мне играть?
Солнце с неба тучку сгонит,
Улыбнется веселей.
Про тебя учитель помнит
И Акимка-Берендей.
Тетка с дядей тужат вместе,
Слезы выплачут до дна,
Что лежишь ты в этом месте
Одиношенька-одна.
Накажу я зореньке
Вечером подольше быть,
Попрошу я звездочку
До утра тебе светить.
К нашей речке схожу,
Про тебя расскажу.
Пусть поплещет она
В бережок волною,
Пусть расскажет рыбам
Про беду с тобою.
А сосна — твоя соседка —
Веткой облаку махнет,
Чтоб ты, Нюрка, не забыла —
Над тобою жизнь идет.

Пришла как-то туча, вымочила мои стихи, а ветер их унес потом куда-то.

…Я вышел в пустое фойе зала. Весенний день смотрел через окно на картину. Там у рояля в черной одежде Лист с молитвенником в руке. О чем думает старый музыкант? Зачем его окружают из проступающей тьмы фона тени монахов с

зажженными свечами? Куда манят они музыканта? Пойдем послушаем весенний город! Лист молчит, думает. Я выхожу на солнце.

Из студентов создавали на летние каникулы концертные бригады для обслуживания отдыхающих в Парке культуры и отдыха имени Горького. Я попал в одну из бригад музруком. Цель студенческой концертной практики — пропаганда современных песен и классики. Музруки должны давать краткую характеристику номеров, доносить до слушателя «зерно» музыкального слова, готовить к активному восприятию. Советовали выпукло показывать героику в музыке Бетховена на фоне узкого мира шубертовской «Форели».

Вначале связывали меня указания, но после стало уже легче. Язык развязался, и скоро скучно стало говорить одно и то же. Начал почитывать, догадываться, придумывать. Необходимо было говорить кратко, убедительно, образно, а это очень трудно.

На одном концерте я так перестарался, так намутил в светлом ручейке романтики, что после исполнения «Форели» Шуберта слушатели жидко пошлепали. Студентка Киселева запротестовала:

— Если так будет дальше, — брошу этот номер! У тебя рыбы начинают плавать вперед хвостами.

Значит, загнул не туда, испортил красоту. Теперь самая пора, когда дома у нас играют чебаки, зависая в теплой струе омута на солнечных лучах. Отец утрами на переборах — узкие места реки — вытряхивает из мокрой усатой верши живое прыгающее серебро. Рыбы мягко стучат в ведра, трепещут калиновой бахромой жабр.

Много надо знать и глубоко чувствовать, чтоб немного и точно сказать. Нет у меня слов, стреляющих от сердца. Мысль бьется, а слово в руки не дается. Послушать бы оратора, подсмотреть, как он торит тропку к сердцу человеческому.

Но пришло из дома письмо. С первыми ручьями умер отец. У матери на руках осталось двое. Долго еще доводить их до дела. И я сам пока никуда не вышел. Не думал, что так скоро придется мне в семье заменять отца. Мечта не сбылась.

От станции до коммуны — не ближняя дорога. Если тронуться с солнышком, — ночь встретишь на своей грани.

Мой путь домой и радостен и грустен. Как пойдет жизнь? Не верилось, что опустело место в семейном застолье, не стало руки, поднимавшей меня.

А кругом свет и блеск дня… Манит даль далекая. Светел простор полей в оправе молодого лета. Солнце в полосах поднимает хлеба, опрыснутая коротким дождем дорога просится

под ногу. Ходко несут молодые ноги немудреные пожитки за плечами да мои двадцать лет.

Ночь застала в полях коммуны. Остаток пути шагали со мной воспоминания. Эти полосы боронил я. Здесь пахал позднее. По совету учителя, чтоб не бездельничала голова, брал в поле словарик языка эсперанто и, шагая за плугом, учил слова, составлял предложения про коней.

В коллекции учителя я когда-то видел красочные открытки городов, лазурных морей, диковинных пальм с непонятными надписями. Учитель сказал, что это послали люди из далеких стран, а пишут они на языке, который везде понимают. Я стал приглядываться к школьной географической карте, на полях которой были изображения мулатов, негров, креолов, самоедов, пустынь с пирамидами и львами. Захотелось самому написать письмо человеку из далекой земли. Только спустя много времени отправил я первое письмо портнихе из немецкого города Цитау. Ответа долго не было, да я и не верил, что она откликнется на мои каракули. Но однажды отец принес из конторы необычный конверт.

— Вертели его в руках мужики, но не поняли, к чему его к нам занесло. Из коммуны не писали в другое государство.

— Может, ищут кого, какая потеря случилась, — догадывалась мать.

— Нас ищут. Нам письмо. Учитель растолковал.

— Господи, да у нас кому теряться? Сроду никто дальше пашни не ездил!

— Распечатывай, — заставил отец. — Почитаем, только язык-то не наш.

— На эсперанто написано, — сказал я, с волнением раскрывая письмо.

— Это какое такое наречие? — поинтересовалась мать.

— Такой язык… Его легче понять.

Сразу прочитать письмо не мог. Начал листать словарь, а родители рассматривали цветной снимок города и фотографию портнихи.

— Строения не наши: крыши стоят востряком. На улицах чисто.

— Немецкая девка нарядная, в сережках. При богатом семействе росла, иголки, может, не держала.

— Портниха она, — сказал я.

— Значит, важная, не для простого народа. Фасонная. Может, еще и непутевая. Путная-то не пошлет с бухты-барахты из другого государства свою карточку.

Когда я разобрал письмо и сообщил его содержание, отец

сказал:

— Дельная штука. Вроде бы соединение языков образует. Можно достигнуть человека в другой державе.

— Интересно, — согласилась мать, — только сомнительно: не подсыпана ли какая отрава?

— Что-то ты не про то, — возразил отец. — Не верить человеку — без отравы скорей околеть можно.

Мать вымыла руки, заставила и меня. Отец не мыл.

…Лунный свет лег на лес, потек со склонов в долину. Куст пошел куда-то на ночь глядя от реки по лугу да так и остался, где сморила дремота. Был тот час ночи, когда сны ушли к людям досказывать давнишние, забытые дела.

В конце плотины, где когда-то прохладными утрами грел колени и руки у фляг с парным молоком, были выстроены ворота. На темном фоне леса месяц высветил узорную вязку. Все сооружение казалось высечено из белого сияющего мрамора. Принялся рассматривать ворота, сделанные из цельных стволов берез, с искусно вделанными переплетами.

— Кто там шарится? — послышалось от амбаров. — Кому каку боль надо? А то приложусь да бахну!

Узнал по голосу деда Афанасия. Он завозился где-то у конюшни, стукнул палкой по стене. Надо отвечать, а то бахнет старик.

— Чей ты? Что-то не признаю. А, Павлов сын!

Сидим на предамбарье. Дед спрашивает про город, рассказывает про коммуну, про себя. Усы, борода, шапка засеяны тусклыми пятнами лунного света. Он похож на ожившую скульптуру.

— Эка, время-то копотит как! — оглядывает меня дед. — Совсем мужиком стал. А я сдал. Не гож в корень. Ухо глохнет, а глаз еще берет. Определили меня мужики ночь караулить да зори отводить.

— Кто выстроил ворота, дедушка?

— Столяр наш, Иван Андреевич, покойничек. Парадный заезд в коммуну сделал. Оставил по себе память, покойная головушка. Редеть-выпадать стали зачинатели. Какую тягость подняли! Не голое место оставили после себя молодым. Теперь ваш черед.

Молчим. За лесистый холм опускается месяц. Мягко храпнула в конюшне лошадь. Чудно спит земля в летние ночи!

— Звезда разыгралась, — говорит дед. — Скоро забрежжит, а там и утро…

Сын над Землей

Апрельским вечером 1961 года возвращался я с работы из совхозного сада. Земля жила: по логам шумела светлая талая

вода, голый березовый лес строился в шеренги на кручах, как перед походом.

Весенний день у меня прошел в хлопотах, усталость не мешала по пути домой строить планы общественного сада, представить тот день, когда набухнут, а потом проклюнутся на яблонях почки и порадуют глаз молодой зеленью.

Вошел в улицу села. Из ограды выскочила девчонка, за ней по улице помчался мальчишка. Оба показывали в небо пальцами, кричали встречным:

— По радио сказали: там человек! Летит! Ты, Сонька, ступай в эту улицу, а я — к дяде Терентию!

Произошло что-то важное: ни одно событие не выталкивало так ребятишек из ограды. Тракторист Сяглов из избы стучит мне в раму окна.

— Человек в космосе! Наш! Гагарин! Пролетел над Африкой, теперь на спуск пошел.

Не было такого радостного дня у весны! Нахлынуло волнение… Не могу удержаться, заворачиваю в кузницу. Там гукает еще наковальня, молодой кузнец вьет кольца из раскаленного железа, искры стреляют в дверь.

— Саша, — кричу я, — какая новость! Человек в космосе! Погоди не стучи!

— А что теперь делать?

— Давай радоваться!

— Человек-то наш?

— Наш.

— Андрюха, бросай кувалду, — сказал он молотобойцу. — Железо успеем накалить да потискать завтра. Человек принес хороший слух.

У кузницы собираются люди, дознаются-допытываются, как мог человек улететь от Земли.

— Вон куда дело пошло!

— На диво!

— Скажи ты мне на милость: народ облюбовал Землю, пашет, сеет, ухаживает, а вот нашелся же непоседа, эк куда махнул!

— Какая сила вздыла-подняла его столь высоко да далеко?

— У какого отца-матери родился такой смелый человек?

— Там же холодище страшный! Значит, он дюжой на мороз!

— Вот ты про мороз помянул. Сибиряк этот Гагарин, не иначе, с холодом свычен. Другого не пошлют.

— Как же он пролетел: поперек или повдоль Земли?

— Земля же круглая!

— Знаю, в школе учили, но откуда-то берется направление?

— Я тебе точно скажу, — вмешался кузнец Саша, —

направление пошло от Москвы! От той точки идут теперь линии во все стороны: вдоль, поперек и по всякому. Ученые спутниками в космосе вехи поставили, а Гагарин слетал и проверил. Теперь расскажет про новую дорогу. Вот как это дело получилось. Направление правильное вышло!

— Постой, Саша, — остановил кузнеца степенный Михаил Демьянович. — Ты правильно говоришь. Язык у тебя ходкий: речь ведешь, как молотком по наковальне Андрюхиной кувалде подыгрываешь. Тебя можно и завтра послушать. Дай узнать от изабольшного[48] грамотея.

— Скажи нам, — обратился он ко мне, — откуда пошло этому делу начало? С каких пор искались-бились люди, пока человек поднялся под звезды? Ты книжку в руках держишь — тебе и слово.

Рассказал о Кибальчиче, оставившем свою мечту о полетах в стенах каземата, о калужском учителе Циолковском, изведавшем нужду и насмешки, но веривщем, что его ракета оторвет человека от Земли. О Цандере, поддержанном Лениным еще в первые годы Советской власти.

— Вот куда этому полету родство-то идет! Светлые головушки велись в России, а ходу не было: власть загораживала.

— Эта власть, — заговорил старичок Федор Сидорович, — была… истинный христос, на манер надава от тесной обувки! И ступить надо, и боль прожигает до сердца, а идти приходится. Хорошим человеком помыкали, не берегли… Богатые за богом спасались, а бедные молитвой одевались.

— Богу Гагарин отбой дал, — загорячился кузнец Саша. — Чего эту сказку заводить! У тебя, дядя Федор, к каждому разговору все от старого заход выходит. Тут нового не переглядеть!

— Иш ты — сразу и в дыбы! Накалился возле горячего железа. Охлынь чуток. Пеленичника на тебе не было, дружок. Теперь у молодых глаза рано открываются, а в старое время младенца пеленичником связывали, чтоб глаза себе не выкопал. Подрастет — развяжут. А тут, вот они, подоспели царь да бог со своими пеленичниками. Вместе-то в два конца затянут человека на мертвый узел, и ходи всю жизнь спутанный. Дальше поскотины не скочишь. Потому и пропадал передовой народ… Про старую жизнь надо поминать: видней, откуда тормозить стало. Переменись власть раньше, — Гагарин на какую бы звезду теперь слетал? А бог что? Он и жил-то не выше тучи, вот его и перелетели.

— Ну, посудили, — сказал Саша, закрывая кузницу, — а дело не разобрали. Пошли слушать радио. Там гадать не будут, а точно

скажут.

— У меня внучок-школьник, — заговорила старушка, направляясь домой, — в сказках завяз, в книжке ночует. Верит в чудеса, какие там живут. Посмеешься над ним: что взять с пикуненка, в голове еще кисель! Сегодня сама опешила: такую сказку никто не складывал. Давно ли вечерами выскакивали на спутник в небе… Пойдет такая жизнь, что диво диву на пятки наступает!

Пошел и я домой, а дума просилась за горизонт, куда уже ушло солнце, чтоб посветить на то место, где покоился космический корабль, и ликовали люди, принимая в объятия своего первого посланца в звездные дали.

Наверное, потому, что у нас есть сын-летчик, я стал думать о родителях Гагарина. Как они чувствовали себя, когда узнали, что их сын летит под звездами? Немыслимая скорость по неизведанному пути, где кончают свое существование в ярких всполохах метеоры… Где вырос звездный герой, кто его родители? Возможно, они обычные люди, такие же простые, как засеянное поле…

*

Утром 6 августа жена учинила варку варенья. Было воскресенье. Я ушел в сад гонять дроздов на малине. Смастерил несколько пугал, собрав дома старые шапки и пиджаки. Птицы кружились над садом, прятались в густой листве деревьев, беспокойно трещали. Подражал на трещетке этому крику и успешно рассеивал налетающие стаи.

На душе было тревожно. Передумал и вспомнил все, что произошло за последние недели.

Зачем корреспонденты зачастили в наш домик? Они к нам никогда не заглядывали. Поднимают всю родословную от дедов и все пишут и пишут в свои блокноты… На наш вопрос, зачем это нужно, отвечают, что их интересует мир хороших людей, а газеты обязаны этим интересоваться. Я читаю газеты и знаю, но как-то непонятно: чего им вздумалось искать хорошего человека среди малины, дроздов и пугал? Не ошибка ли?

Первых корреспондентов газеты «Известия» — Волкова и Штанько — мы и встретили с недоумением, как если бы к нам зашел министр или генерал. Поэтому, признавая важность посещения, рассказывали мы с женой свою жизнь без утайки, хотя между беседами, когда гости выходили в сад, спохватывались. Жена, будто по делам, выходила в сени, наблюдала за

приезжими, а потом наседала на меня:

— Чего это ты разболтался! Кто знает, зачем они приехали.

— Мать, — говорил я, — ребята-то будто хорошие, да и спрашивают про старое. Они рады, что нашелся живой свидетель, пусть себе пишут.

В последние дни корреспонденты стали появляться чаще и не надолго, раскрывали блокноты:

— У вас есть сын?

— Есть.

— Где он?

— Где-то в Москве.

— Расскажите о нем.

И в который уж раз начинался рассказ о сыне, после чего корреспонденты исчезали, как вихри-вертуны.

В это утро написали сыну письмо, посоветовали ему хорошо исполнить неизвестное нам дело, но отправить не успели.

…Где-то на краю сада зашумела машина. Ко мне в малину шел высокий черноволосый человек.

— Корреспондент газеты «Известия» Аграновский, — сказал он.

— Побеседуем в саду, — предложил я.

— Думаю, что дома будет лучше.

— Поедемте. Со вчерашнего дня у нас никого нет. Сегодня ночевал Омельчук из редакции газеты «Красная звезда». Решил в выходной порыбачить. Может, где на речке в кустах путается.

Подъехали к дому, где было тесно от машин и народу. Защемило сердце: неужели с сыном уже началось что-то? Меня ввели в квартиру, забитую народом. Корреспонденты, фотографы, снаружи в окна смотрят люди… Мы совсем растерялись, уселись рядом на ящик, впились глазами и слухом в радиоприемник. Не верилось, но диктор назвал имя нашего сына: «Корабль „Восток-2“ пилотируется гражданином Советского Союза летчиком-космонавтом майором товарищем Титовым Германом Степановичем».

Засверкали фотографы, затрещали кинокамеры, а мы заплакали. Заплакали от счастья, от гордости за сына-гражданина, что вырос в нашей семье. Оттого, что ему доверено трудное дело, от тревоги за исход полета, от заботы, хватит ли у сына сил, чтоб успешно провести полет космического корабля… А он пошел уже на третий виток вокруг Земли. Люди ликовали, а мы не могли опомниться, не находили себе места.

Так прошел остаток дня. Настала ночь. Сын, пролетая над Москвой, пожелал москвичам спокойной ночи, лег спать в космосе. Нам не уснуть. Народ разошелся по домам, мы остались

одни — стало труднее.

Сидим среди комнаты на стульях, молчим, думаем одну думу. Она бьется где-то под ночным небом, выслеживает путь сына. К окнам плотно прислонилась темнота. Молчит в уголке приемник, и натекает такая тишина, что некуда от нее посторониться. Где ты, утро, долго затерялось! Хоть бы люди пришли поскорей!

— Да сколько ему еще летать-то, — опрашивает Шура. — Когда же конец-то?

— Не знаю.

Вспомнилось письмо дочери. Она гостила у брата и сообщила, что Герман где-то долго был и неохотно сказал, что просидел пятнадцать суток. Это нас встревожило: значит, провинился, где-то выпрягся и получил по закону. Далеко он, не поставишь ему своей головы, не убережешь от ухабов. Только потом узнали, что сына испытывали на стойкость нервов для полета в вечной тишине, в одиночестве. А нам тишина ночи казалась мучительной, затяжной, как обложной осенний дождь.

Ложились, закрывали глаза. Тревога за исход полета становилась сильней — глаза сами открывались, а вверху был пустой потолок.

— Усни, — предлагает жена. — Неизвестно, сколько он там пробудет. Силы поберечь надо.

— Ты же не спишь.

— Не могу.

— И я не могу.

— Не случилось ли что у него? Может, он там бьется, а спуститься не может. А? Что молчишь?

И я про это же думаю, но понимаю, что так можно истерзать друг друга. Начинаю сердиться оттого, что не могу найти убедительных слов, чтоб самому поверить. Верить надо и жену заставить…

— Не может быть несчастья, не может!.. Гагарин слетал благополучно. Не загубят нашего сына. Не игрушками занимаются: дело это всемирное. Наверняка!

— Не играют… знаю… Нам легче: мы двое и дома, а он один, и кто знает, где теперь.

— Хватит тебе, помолчи! Спи, — говорю я.

— Трудно молчать. Хоть бы ветер… Такая тишина…

Встаю, включаю приемник. Он слабо потрескивает. Весь мир молчит! Хоть бы ветер, хоть бы голос человека на ночной улице… Тишина, как на дне океана!

Выхожу на крыльцо. Темное небо запахнулось-застегнулось на все звезды, не высмотришь в нем ответа. Яркая стрелка

метеора опустилась в вершину тополя и потухла.

Не может быть беды! Но сын отправился в неизведанную дорогу, и кто может поручиться за счастливый исход? Если же случится непредвиденное — как отнестись к несчастью, как правильно понять его родительским сердцем, устоять?

Кто-то сказал, что космический корабль этой ночью пройдет над Сибирью. Вглядываюсь в звезды, жду: не поплывет ли среди них желанная, в которой летит частица нашей жизни. И кажется, что среди звезд проходит волнение. Они струят свой свет, несут торжественное сияние к сыну, в надземные дали, где вечен животворный луч. Пусть тебе, сын, в трудном полете будет верным ориентиром солнце!

Шура тоже выходит на крыльцо. Смотрим в небо.

— Где его там найдешь, — говорит она. — Давно ли топтался вот на этом месте, боялся заходить в темные сени, а теперь куда залетел…

Давно ли… Давно ли сентябрьской ночью вез жену на телеге по тряской дороге в больницу за двадцать километров. Только полная луна была свидетелем того, как я торопился, боялся, чтоб это не случилось на телеге в поле, как получал в спину тумаки, когда от тряски жене становилось невыносимо.

Давно ли был тот погожий осенний полдень, когда на больничном крыльце, заласканном теплом и светом алтайской осени, взял в руки завернутого в одеяльце совсем невесомого сына и… растерялся. Белый халат няни стал еще светлее от ее улыбки, а лицо женщины и изучающе участливые глаза вместили в себя мир материнства, исторгали столько добра и тепла!

— Посмотри же, отец, на сына, — сказала она. — Семья начинается.

Добрая женщина! Да разве ты не видишь, что не могу сразу освоить нового и значительного для меня слова «отец»? Мне надо привыкнуть, осмыслить, кем я стал теперь.

Неуклюже заглядываю в сверток, а там — слепочек лица с пуговочкой носа да подрагивающая соска. Значит, правда, что началась семья, что я отец. Вот оно и получилось!

Домой ехали неторопливо. Солнце пошло на вечер, грело в спину, просвечивало до земли желтые хлебные полосы. Жена рассказывала, что сын родился утром, что он нормальный, не урод. Она пересчитала у него пальцы на руках и ногах, наблюдала, как бьется-токает темя, а это, говорят, хороший знак: будет жить.

Перед опытным полем нашего колхоза повстречался конюх Железников Степан.

— Кого везете?

— Сына!

— Вот и правильно: хозяин есть — дом будет! Назвали?

— Нет еще.

Об этом мы уже думали, но не решили, какое имя будет лучше. Шура предложила «Виктора», довольно модное у нас в то время имя, а мне не хотелось, чтоб наш сын увеличил и так уж порядочный «отряд Витек». Хотелось нового имени для своего первенца, но боязно было: как отнесутся к этому старики, особенно тесть. Он может подумать, хмыкнуть и сказать:

— Сидор, Анпадист да Ярас теперь не ко времени, но и это какое-то разбойничье имя!

Перед домом остановились на последний совет и выбрали «Герман». Такое имя было в семье моего учителя, но теперь его давно здесь нет. Пусть оно будет памятью о нем.

Вечером смотрели на сына всей семьей. Он спал и рос, до нас ему не было дела.

— Слава богу, что с руками да с ногами, — говорила теща. — И из такого червяка вырастет человек.

— Дите как дите, — заключил тесть. — С рукой, с ногой, а как будет с головой?

— Телом уядреет — и голова поспеет. Ему теперь сон да корм, а вы судите, как хотите, — ворковала над сыном теща. — Собрались ребятки по малинку, а привезли калинку.

— У малинки сладкий сок, у калинки — горесть, — добавил Михаил Алексеевич. — И перчит и горчит, губой дергать не велит.

Он отошел к двери, вынул кисет и занялся свертыванием самокрутки.

— Ты, отец, со своей соской иди на улицу: тут теперь другой старший с соской завелся.

Тесть сидит у порога на табуретке, курит и дует в приоткрытую дверь.

— Да, то-то, видно, детки, так-то, — продолжает разговор теща. — Было время — скок-поскок, а теперь завязан узелок. Узелком-веревочкой связалась порядовочка: было двое — стало три, рад не рад — глаза не три. Как будем парня звать-гаркать?

Мы с Шурой переглянулись, ответили. Теща присела, одернула запон, тесть повернулся, поерошил усы, поглядел в пол. Все помолчали.

— Как-то не по-русски получается, — сказал тесть. — На чужой лад. Разве русских-то имен поубыло? Выбрать можно.

Что можно было на это ответить? Имя хорошо, когда его носит достойный человек, но и хорошее потускнеть может. Понравилось такое — назвали. Выручила теща:

— Имя — не вымя: молока не даст, под брюхом не повиснет. Не шуми, отец, ни к чему-то!

— Что шуметь, — согласился тесть. — Это у меня к слову мнение вышло. Вот поп дал мне имя, — живу с ним век, а правильно ли оно подобрано, как тут судить? Мой тезка Михаил на царстве был, а я с овечками управляюсь. Пусть будет такое: нам им не румяниться. Будет на него откликаться — и ладно.

Известно, что детей не долго забавляют игрушки. После первого увлечения изделие рук человеческих потихоньку разламывается: любопытно знать, как оно устроено.

Хотя мы с женой были уже родителями, но нас — по молодости, что ли — не оставляло желание узнать, чем природа оделила сына, не забыла ли чего дать ему при рождении? Терпеливо ждали подобия улыбки. Когда же у него задвигались глаза и голова, приступили к опытам. Водили перед глазами сына зажженную спичку, звонили в колокольчик и убедились, что он не слепой и не глухой.

А мне захотелось узнать, когда у детей появляется чувство страха. Поднимал и опускал своего годовичка на руках, а потом начал подкидывать. Сын смеялся от удовольствия, но я подкидывал его все выше. Он на мгновение не чувствовал опоры моих рук, и тогда на его лице появились растерянность и напряжение. Это я объяснил осознанной привычкой опоры, но ее можно разрушить тренировкой. Как-то увидели меня старшие за таким занятием и запротестовали:

— Ты сдурел, что ли? — всполошилась теща. — Расхлеснешь парня!

— Не играй ребенком, — сказал серьезно тесть. — До испуга не долго. Родился нормальным — сделаешь уродом. Вон Егорушку маленьким скинула лошадь в яр — что получилось: ходит теперь по деревне не в своем уме да поет «Христос воскрес».

В дальнейшем старался преодолевать у сына чувство страха.

«Помнится, — пишет сын в своих воспоминаниях[49],— в один из зимних вечеров кончилась снежная вьюга и стало кругом как-то особенно тихо. Только ходики громко тикали… Сквозь рваные черные тучи на землю проскальзывал лунный свет, деревья и сугробы бросали фиолетовые, как чернильные, тени. И тени эти то темнели, то светлели, то исчезали совсем.

Я внимательно наблюдал за их игрой, а отец взял скрипку — и в комнате разлились звуки какого-то грустного романса. Мне казалось, что тени скользят по сугробам в такт музыке, а смычок своими легкими движениями дирижирует ими… Стало как-то таинственно, жутко, и вдруг я увидел, что мимо нашего окна,

приближаясь к дому, не то идет, не то летит над сугробами человеческая фигура.

Я в ужасе закричал, заплакал. Разобравшись, в чем дело, отец спокойно, но настойчиво сказал:

— Одевайся, Гера.

Я упирался. Он же набросил на плечи свое пальто и вышел в сени.

— Я жду, — послышался его голос.

Преодолевая страх, осторожно переступил порог…

Отец уже стоял посредине двора. Стоял, высоко подняв голову, любуясь присмиревшей природой, зимним небом. На меня он будто и внимания не обращал.

Я оглянулся. Никого нет. До отца шагов десять-пятнадцать. Отец молчит. Жутковато.

— Батя… — тихо позвал я.

— Что стоишь? Иди сюда, — отозвался он.

Я подошел.

— Следы от наших ног видишь на снегу?

— Вижу.

— А где же того человека следы?

Замирая от скрипа снега под ногами, я потоптался вокруг отца, оглядывая наши следы и ровные, чистые, как искрящийся нафталин, волны сугробов. Никаких других следов не было.

— Здесь никто не проходил, Гера, — сказал он. — Это тени от деревьев тебя напугали.

И отец повернулся к дому.

— Идем спать, сынок.

Я бросился было за ним вдогонку, но, поборов страх, стараясь не спешить, подошел к окнам, еще и еще раз осмотрел только что наметенные сугробы снега. Когда окончательно убедился в том, что здесь никого не было, вернулся домой. Отец как ни в чем не бывало разговаривал с матерью о чем-то совершенно постороннем.

С тех пор я не помню случая, когда бы чем-нибудь вот так, без всякой причины, напугался. В минуты надвигающейся опасности, еще мальчишкой, прежде всего старался осмыслить, понять — что же там, за темным „окном“ страха?.. Мне, конечно, как и всякому, не чужд страх, но с того дня я стал учиться владеть собой и перебарывать это липкое и омерзительное чувство».

…Шло время. Сын рос. Читал я в свои школьные годы книжки про музыкантов, горевал о их тяжелой судьбе, но всегда поражался, как настойчиво идут эти чудо-люди нелегкой дорогой труда. Сколько же надо сил и времени простому смертному, чтоб овладеть искусством, хотя бы приготовить себя к умению

наслаждаться творениями редких гениев Земли! Блеснули они в веках звездой мелькнувшей, просияли и для меня и для сына. Как сделать, чтоб он к ним не был слеп и глух? С чего начинать?

Знал по описанию, в какой среде вырастали многие музыканты, художники, писатели, артисты. Какую среду мы могли предоставить сыну, чтоб возникло увлечение? Одаренные дети приметны, они сами подсказывают свою нужду. Как же быть с теми, кто долго не находится? Предоставить их самим себе? А сколько они будут стоять на распутье, по верной ли дорожке двинутся? Чудо-ребенок радует нас, но будущее неприметных детей должно волновать: их множество, им надо помочь раскрыться. Это трудно, равно маленькому открытию. Не ждать, не бездельничать, а пробовать «искушать».

Вот сидит он у стола, лобастый, с тонкой шеей, открытыми безбровыми глазами, слушает или смотрит, как я играю на скрипке? Вероятно, смотрит. Следит за движением пальцев, за качающимся смычком, наблюдает, как белая канифольная пыль оседает тонким бусом под струной. Слышит ли он гавот Люлли, раскачает ли его малюсенькую душу на своих волнах мелодия Глюка? Не знаю, но струна поет для него.

Сын, удовлетворив любопытство, принимается за свои забавы: с шумом возит по комнате деревянную автомашину, бибикает, фырчит, подражая работающему мотору. Нет, Моцарт в детстве был не таков… Он лип на звуки, слушал их. Что ж, пусть около уха сына бьется все-таки хорошая музыка.

Чтоб у нас побольше было доброй музыки, купили патефон. «Ходовых» пластинок я не брал, так как решил закрыть дверь в свой дом тому, чего не любил, что считал «музыкальной лузгой».

Запели у нас Руслан, «Рыцарь Грааля», Берендей о цветике, что «дышит неуловимым запахом весны, тревожа взор и обонянье». Князь Игорь поведал горечь плена, жажду свободы и борьбы. А «Рассвет над Москвой-рекой» был похож на утро над речкой Журавлихой, только колоколов не было. Их заменил звук крупных капель росы с лаковых листьев тальника.

Сын увлекся патефоном, усердно крутил его. Понимал ли музыку — не знаю, не определил. Помешала война.

Есть ли в мире что-нибудь более ненужное, чем война? Она отрывает от мирных дел, от несвершенных замыслов. Океаны ума и энергии уходят не на созидание, а на разрушение. Гибнут неповторимые ценности, подаренные веками, без времени гаснут жизни… А сколько не сделано еще нужных, неотложных дел на земле!

Отыщется в каком-нибудь уголке мира черная сила, разразится гнусом, поразит окружающее тлетворным дыханием,

развернется, гремучая, — столкнет народы, и прольется кровь.

Коротка жизнь человека, жалко ее, но вечно живет народ, Родина, а в ней — дети, среди которых и мои — сын да только увидевшая свет дочь. За вас, чтоб не заглохли вы, раскрылись и цвели, хлынул на борьбу поток народный, и я вместе.

Оставил жене двух малышей и надежду… Если не придется увидеть победы, — верю: ее принесут живые живым!

Полевая почта доносит короткие вести из дома. Сын пошел в школу, дочь уже переступает сама, скоро побежит. И озаряются трудные дни войны теплым светом жизни, и просится в треугольник солдатского письма стих:

Здесь очень трудно, вам — не лучше.
За то, что в дорогом краю
Нет в небе свастики паучьей,—
Я в заграждении стою.
Не хочу, чтоб танк орущий
Тупою тяжестью своей
Когда-нибудь подмял и сплющил
Моих детей, чужих детей!
В истории, набрякшей кровью,
Кровоточат века войной,—
Но озарится светлой новью
Наш страдный мир, втройне родной!
Придет пора, да жаль не сразу:
Войне — ни окон, ни дверей!
Против нее лишь будет разум
На вооруженье у людей.

Жена писала, что сын учится примерно, но пишет грязно. Трудно с тетрадями. Увлекается лошадьми, ездит со взрослыми в поле за сеном, торчит в кузнице до потемок, домой заявляется чумазым, с железками в кармане. Хорошо, что дедушка приструнивает его. Она спрашивала у меня совета, как обойтись с непоседой, просила написать ему отцовское внушение. Трудно советовать, когда четвертый год не вижу семьи. Сын уже в третьем классе. Теперь он усиленно знакомится с миром, лезет в каждую щелку. Это — право молодой жизни. Без ежедневного узнавания невозможно жить полно.

Написал, чтоб жена руководила детством сына, но не отнимала его. Сыну тоже написал, но не внушение, а просил рассказать о своих делах.

Вот они, родные, со старанием написанные и с усердием закляксанные короткие «повести».

«Карасей в пруду много. Ставим с дедушкой корчаги. Плаваем на корыте. Дедушку оно не держит. Корчажки вытрясаю я, он ждет на берегу».

«Бабушка все хворает. Посолили рыбу, надели на веревочки. Дедушка растянул всю рыбу на улице по стене. Трогать не велел. Я взял только две — вкусная!»

«В школе учили противогаз. Надевали. Учительница сказала, чтоб сидеть дольше. Я хотел всех пересидеть, да там чем-то пахнет».

«Собираю в лесу коринки от старых пней. Хожу за сосковыми шишками. Свиньям собираю лебеду. Уж всю сорвал. Мама ругает, что мало. Дедушка говорит: не шуми, он еще поищет. Я пойду в мастерскую к дяде Грише, там гвоздики выпрямляю. А свиньи мне надоели».

«В кузнице совсем интересно. Дядя Максим бьет молотком по красному железу. Искры попадают в угол. Мы их ловим. Помогаем дуть мех. За это дядя делает нам плитки: в бабки играть. На моей наковал: Китов. Я говорю: не так, а он говорит: это не „китрадка“, а железо. Пальцем не затрешь».

«Бабушка умирала страшно. Похоронили ее. Дедушка молчит. Он палки, на которых несли бабушку, принес домой с могилок. Тетя Маня заругалась на него: кто так делает? Новую смерть зовешь? Дедушка говорит: я сам на кону. С умом жить — можно на одних палках всю деревню похоронить. Что без дела лес губить? Пусть растет».

«С учительницей ходили на пашню собирать колоски. Много собрали. Жарко, трудно».

«Из Косихи приехал дяденька. Он сказал у конторы: конец войне. Дяденьку качали на руках. Нога у него хромая. Тетка Наталья плакала. Велела нам кричать „ура“. Мама тоже плакала. Дедушка сказал: кончилось, теперь реветь нечего. Живые будут дома, а мертвым вечная память. Много головушек положено за нас».

*

Играла первая ноябрьская метель, когда я вернулся домой. Покинул на большаке попутную машину и пошел напрямик полями, перелесками. Хотелось прошагать без дороги по родным пашням. Голый лес качал вершинами, сквозь сетку ветвей сыпалось белое метельное кружево, и стих просился на язык:

Сибирь, моя хорошая!

Овеянная ветерком,
Первым снегом припорошена,—
Встречай солдата, мирный дом!

Дочь не знала меня, угрюмо глядела на шинель, сползала с моих коленей. Сын знал, но отвык и тоже сторонился. Тесть сразу поправил дело:

— Вот что, ребята! Команду сдаю. Отец вам теперь командир. Показывайте ему уроки.

Листаю тетрадь сына. С ее страниц набегает на меня волнение: будто это моя тетрадь, будто повторяется мое детство, проглядывает на дорожках строчек. Так из поколения в поколение печатает детство свои трудовые следы в школьной тетрадке. Бегут они со страницы на страницу, выводят в жизнь, а там след пойдет уж по земле. Какой он у сына? Вероятно, такой же неровный, как строчки в тетрадке.

— Кособочит буквы, — говорит тесть. — Сколько раз наказывал: держи руку твердо, тогда всякая буква подчинится! Неровно ведет. Да и то сказать, дети растут не по одной мерке. Ровно-то, может, одна лебеда растет. Теперь показывай, какой урок ты выучила.

Дочь уже не хмурилась, обжилась в моем присутствии и угостила такой доморощенной «товарочкой», что тесть не усидел, выдвинул стол на середину комнатушки.

— С такой песельницей бутылки не миновать!

Была она у нас на столе в тот вечер. А как иначе встречать солдата в родном доме после войны?

Вот и мир… Радость встреч и горечь слез от несостоявшихся встреч. И чувствуешь себя должником перед теми, кто остался на дальних дорогах войны, дав возможность вернуться мне. Нельзя забыть вас, товарищи по оружию, своей смертью давшие нам право жить, лелеять мечту. На могиле Неизвестного Солдата суровая правда будет с вами вечно на часах.

Надо настраиваться на мирный лад, снова делать то, что оборвала война.

Опять работаю учителем в школе в Полковникове. Следы войны видны и тут. В школе мало дров. Ездим с учениками после уроков в лес, пилим мерзлые березы. Не хватает тетрадей. Собираем исписанные, отбеливаем их в растворе хлорной извести. Нет мела — пережигаем кости.

Трудно с квартирами. Скопили денег, купили избушку и горячо принялись планировать с сыном. Он уже окончил седьмой класс. План на бумаге у нас получился на редкость точный, но,

когда перенесли его на местность, углы не хотели быть прямыми.

Перевезли избушку, выбросили гнилые бревна, подсчитали и приуныли: не хватает двух венцов, чтоб не задевать головой потолок.

В детстве я ездил через село Полковниково, видел полукаменный дом у дороги. На этом месте теперь был бугор да мусор. Дорылись с сыном до остатков фундамента, набрали целых кирпичей, а половинок — горы! Горевать нечего. Подведем под избушку фундамент и на печку хватит.

Целое лето поднимали стены, навели крышу, всей семьей учились штукатурить. Долго мороковали над печкой. Надо было сделать ее такого размера, чтоб она верно служила, но оставила место и нам. Работа подходила к концу, и тут стало ясно, что сына положить некуда. Подвесили к потолку полати — пусть спит там. Мы с них же начинали жить.

Избушка есть, но нельзя же жить среди бурьяна. Затеяли сад. Жена с недоверием поглядывала на новую прихоть. Чем больше мы теснили свой маленький огород, тем чаще были семейные размолвки.

— Ему-то, — указывала Шура на сына, — на потеху, а ты-то что делаешь? Картошку садить негде. Все прутиками утыкали.

— Надоело видеть картошку, огурцы да тыквы! Хочу посмотреть, как яблони цветут.

Сын в этих случаях деловито молчал, копал ямы. И пришло время. Зацвели яблони у нашего домика. Победа!

Снова стал присматриваться к сыну. Что его интересует? Учится исправно, но увлечений не обнаруживает. Такой же, как и все ребятишки в школе. Даже хуже! Те танцуют, поют, играют на инструментах, а наш — никуда.

Не исполнилась моя мечта быть музыкантом. Она, теперь далеко отодвинутая, еще теплилась воспоминаниями. Неужели сын пройдет мимо нее, не осуществит того, что мне не удалось?

Перед войной принялся строить нечто вроде пианино, но не удалось. Теперь услышал, что в соседнем районе в школьном сарае лежат среди хлама остатки фисгармонии. По просьбе моего брата тамошний учитель подобрал части инструмента, и мы с сыном поехали за ними.

Трусит наша лошадка молчаливыми проселочными дорогами. Теплый весенний день щедро выстилает лощины, склоны свежей зеленью, расставляет полевые цветы. Выдаются же такие дни, когда человека завораживает красота мира! А жить-то как хочется! И мечтать.

У сына — это первое дальнее путешествие на лошади. В руках вожжи, на лице — выражение важности, хозяйской

сосредоточенности. Я лежу на подрагивающей телеге, смотрю в небо, представляю, как запоет у нас новая музыка, как сын потянется к белым клавишам.

— Папа, какая это фисгармония музыка? Чем играет? Смычком?

— Это такой инструмент, — говорю я, — как орган.

— А какой орган?

Как ответить, обрисовать неизвестный ему инструмент? Какие подобрать слова, чтоб они запели органом? Может, пробуждается интерес, и надо попробовать поразить воображение.

— Орган — большущий инструмент. Целый дом! В нем много труб. Мехи качают воздух, а трубы поют. Музыка у него торжественная, как гром в тучах, и тихая, как у пустой бутылки на ветру. Она мягкая и сочная, как молодая трава, широкая, спокойная и сильная, как ледоход, бескрайная и глубокая, как небо. Посмотри на чистые стволы берез, что сбегают в низинку, на лесную зелень. Это может сыграть орган. А вот в пролесках дорога, первый цветок на обочине, дрожащий над землей воздух, коршун в свободном полете под облаком, — и об этом расскажет орган. Вон разрастаются облака, плывут белогрудые, в синих струях, гладят тенями крутые бока логов. Это можно спеть на органе. Фисгармония маленькая, так не может, но тоже славно получается.

Верил ли сын моим словам, проснулось ли его воображение? Я верил и жил, потому что фантазия ехала вместе с нами на телеге. Видать, задело и сына. Он слушал, наблюдал, опустил из рук вожжи, — они запутались в колесе. Лошадь свернула с дороги и стала перед зеленым кустом.

Доехали к вечеру. Извлекли из-под пола части инструмента, уложили на телегу и собрались тронуться, но прошла какая-то женщина, и меня тут же потребовали к директору. Он в грозной позе сидел за столом.

— Кто такой?

— Из соседнего района.

— Почему воруешь?

— Я считал, что это вам не нужно.

— Тащи в своем районе, что плохо лежит.

— Она же была в хламе, пропадала, а я…

— Сгружай! Не доказывай, что ты можешь. Я тоже могу. Сейчас подыму на ноги милицию — на крючке будешь!

И почувствовал я себя таким непроходимым злоумышленником. Стыд накрасил мне лицо, горели уши. Хотелось провалиться, да как это сделать?

Сгрузили нашу мечту и выехали с позором.

— Папа, ты что красный? — спросил сын.

— Не дали.

— Совсем?

— Совсем.

Грустен был путь домой. В темных полях как-то одиноко, на душе бередит. Думаю о злых людях, что могут больно наказать, отняв мечту. Зачем они живут на свете? Они туманят радость жизни, с ними и день не в день.

Кто-то приручил лошадь, придумал колесо, высмотрел в природе хлебный колос. Такой не мог быть злым. Злой не создаст светильника, он погасить его может.

Дорога длинная, досада, как горечь полынная… И звезд понасыпало в небе!

Лошадь мягко стучит копытами по дороге, везет нас навстречу молодому месяцу. Он чист и свеж. Хочется положить его на ладонь и понюхать, как запашистую скибку[50] дыни.

Спит под фуфайкой сын, свернувшись калачиком, бегут мысли, скорее лошади, по дороге.

Нелегкое дело растить детей. Родителям всегда хочется видеть их лучше, чище, чем они сами, и потому спешишь при случае с меркой взрослого. Стоит перед ней подросток, свеженький, зелененький, трещит на нем рубаха от неуемной энергии, а рядом эта мерочка, окороченная, как много раз перетесанный кол в городьбе. Сухая она, залоснилась от частого употребления. Не понять ребенку, отчего его меряют меркой, не догадается взрослый, почему дети растут, перерастают мерки. Вот и сын наш тоже. Корыстны ли его годы, а уже стучат в нашу дверь огорчения.

Пока спит он, память отправляется по горячим следам его детства, как взыскательная мать, вывертывает карманы детской одежды, вытряхивает из школьной сумки содержимое, что облюбовали его руки, собирая свое немудрое хозяйство. Заутра допрос:

— Зачем проволока?

— Телефон делать.

— К чему гвозди?

— Где-нибудь прибить.

— Почему тетрадка изрисована?

— ?

— Так учительница учит?

— Нет. Задачку решу, а потом делать нечего.

— С кем подрался вчера?

— Я только по уху, и он теперь не обзывается.

Перемена. В классе мгновенный шум, а потом тишина.

Дежурная девочка смущенно докладывает мне:

— Герман табуретку сломал.

Во мне все закипело. Сыну учителя нельзя прощать. В учительской короткий разговор:

— Ты сломал?

— Меня толкнули, а у ней ножка шаталась.

Подаю директору школы десять рублей.

— Это на ремонт табуретки. Думали купить набор для постройки летающей модели, но сын решил, что лучше ломать стулья, чем строить модели.

Герман обмяк, потемнел, потух. Встряска вышла сильная. Вгорячах больно ударил этими словами. Стало жалко, но виду не подал. Не перехватил ли?

Сам отремонтировал табуретку в мастерской. Некрашеной ножкой она напоминала классу о происшествии, а сыну — несостоявшуюся покупку и семейный расход на его проказы. Что ж, гвоздь в половицу забивается сразу под шляпку.

Детству даны свои стежки-дорожки, и скачет оно, голоногое, подставляет голову под дождик из тучи, лопочет светлыми пузырями в луже. Взрослому, давно свернувшему с этих тропок, кажется, как долго, затяжно резвится детство на подходе к жизни.

Отчего бывает: одни выходят к широкому тракту и пошел себе шагать-копотить обочинкой. Не обидят встречного, пропустят поперечного, через мостик, а не бродом, и летит молва следком: счастья матери с отцом эти понагрудят в дом! Как-то выросли молчком, не толкались под ногами и ушли, как не были.

А эти скакуны-прыгуны, громкие шаркунчики, пестро оперенные, в какой семье вскормлены? Кто выпустил их на легкой рыси, чтоб прицепиться к попутному, перемахнуть к встречному, упорхнуть под лопух, когда дождик, когда грязь? На той ли закваске они выстаивались, была ли тут родительская любовь? Была? Возможно, но такая годится только в поделке игрушек.

А наш-то, наш каким станет? Не гладеньким растет, прорезывается сучками, ершистый почему-то. Срубать сучки, подгонять под мерку? Ее не зря придумали люди, но везде ли приставлять ее? Может, не мерку, а веху поставить вперед? Она привлекательнее: движение в ней угадывается. Какое выбрать направление, пойдет ли сын на веху? Надо пробовать.

Нелегко растить детей, но всегда ли детям легко расти с нами?

Купили детскую гармошку. Тискал ее сын усердно. Не раз она ночевала закопанной в песке, голосила среди бурьяна, куда забиралась компания, как в настоящую тайгу. В жаркий день

купали ее в реке, отчего слезла краска, захлебывались голоса. Наконец, к удивлению музыканта, когда он вытряхивал из нее воду, мех отскочил и поплыл по реке. Остатки гармошки были им запрятаны в кладовой.

Был у нас школьный оркестр. Посадили сына за барабан. Музыкант мой бил колотушкой сносно. Вижу, подает надежду. Купил мандолину, занялись нотами, но особой охоты не заметно: бренчит по принуждению. С мандолины перевел на скрипку. Начали поигрывать упражнения в две скрипки, а огонька не появляется.

Слышал я когда-то, как отец Паганини изводил своего сына ежедневными упражнениями в игре на скрипке. И добился! Принажал и я… Досадно стало: не откликается на мою мечту. Прав ли я в своей настойчивости? Не отобью ли так совсем от искусства? Утихомирился. Сын понял это. Позднее, когда учился в соседней школе, унес мандолину и подарил кому-то. Я же скрипку отнес на вышку.

Накупил репродукций с картин. Завелась у нас своя «Третьяковка» в коробке. Копировал карандашом и красками, развесил свою продукцию по стенам. Сын порисовывал тоже, только больше в школьных тетрадях. В них копилось собрание профилей соклассников среди задач и сочинений. Не пошло и тут.

— Мать, — говорю я как-то вечером своей жене. — Сын у нас что-то ни туда и ни сюда.

— А куда тебе надо?

— Ни к музыке, ни к рисованию не пристает. Подталкиваю, он и не упирается, но и не цепляется. Не бестолковый ли?

— Ты уж сильно толковый! Учится хорошо. Какой же тебе еще толк нужен? С другими учителя бьются, а у него отметка к отметке.

— Это так, только школьная отметка — не на всю жизнь метка. Со временем он вышагнет из-за нее, а с каким запасом жить будет?

— Что-то ты замудрил к ночи. Не всем петь, рисовать, кому-то слушать и смотреть надо.

— Вот, вот! Смотреть и слушать — не простое дело. Этому учатся.

— Не все сразу. Не всякое дело человеку в руку. Его автомашина начала завлекать. Просится поездить с дядей Тишей. Как, отпустить?

— Не в мою породу пошел, жаль.

— Не носись с породой! Своей породой мир не заселишь. Будет шофер — хватит нам.

— Шофер?

— Что худого?

— Дело нужное, но лучше бы инженер.

— Так надо помогать, а не мешать. У тебя глаза поставлены в одну сторону. Ищешь в нем свое, а его не замечаешь. Кем будет, не узнаешь. Завтра выходной. Отпустить, что ли?

— Отпусти.

Трудно смириться с мыслью, что мешал, но как удержаться от желания передать то, чем сам увлекаешься? Помогать? Как это сделать?

Техника увлекала и меня в детстве. Делал тележки-самокатки, стрелки, что запускал с нитки на полочке под самые тучи.

По расчетам из «Занимательной физики» построили с сыном воздушного змея. Он поднимался высоко, видно было на всю деревню. Захотелось определить, как далеко он поднимается в небо. Построили трубку-высотомер. Однажды наш змей поднял на себе наклеенный герб, громко зашумел трещеткой. Но подстерег его порыв ветра, оборвал нитку и умчал в согру. Разведчики нашли в кустах поломанные планки, шматки шуршащей бумаги.

В школе с энтузиастами построили летающую модель самолета. Испытывали ее на школьной катушке. Модель скользила под уклон, за ней на лыжах отряд ребятишек сваливался под гору.

Я сам невольно потянулся к детским забавам и попал к сыну «на крючок». Интересно было построить летающие санки, чтоб с крутой горы почувствовать момент взлета. Дома готовили материал, чертили, угадывали конструкцию, верили в прыжок-полет.

— Опять что-то пошло? — спрашивала жена. — Сору не оберешься.

— Будем строить санки-самолет! — важно ответил сын. — С горы — раз, и немножко подлетим.

— Ты когда остепенишься или нет? — упрекнула меня хозяйка. — Распялитесь на кустах оба, других ребятишек побьете. Делали бы уж лучше игрушки.

— Мы, мама, не высоко и на чистом месте. В снег не больно!

— Ты и на ровном месте синяки ловишь! Одних штанов не настираешься с вашими делами.

— Надо бы не говорить матери про нашу затею, — сказал я.

— А куда спрятаться?

— Некуда, везде видно.

Если сто дел помножить на сто, все равно хватит сил и времени у молодого. Ночь — не помеха, когда по сердцу потеха.

Сын учился в средней школе, часто приходил поздно, а на этот раз и ночевать домой не пришел. Кончался учебный год, и мы подумали, что он остался у приятеля, чтоб вместе готовиться к экзаменам. А дело-то было вот какое.

Один из приятелей Германа окончил курсы шоферов и получил грузовую машину. Можно ли было упустить случай и не определиться стажером к Гришке Абельдяеву? После уроков сын поджидал приятеля на дороге и отправлялся с ним в рейс, чтоб к ночи вернуться домой.

Пылит машина проселочными дорогами, блаженствуют ребята! Они полные хозяева тарахтящего сооружения, чудом не попавшего в утиль. В стороне от проезжей дороги Герман хозяйничает за рулем, а Гришка со знанием дела помогает постигать премудрость переключения скоростей, не газовать без толку. Ехали, ехали и доехали: остановилась машина в стороне от сел, почихала, постреляла и затихла, приютившись у тальникового колочка. Покопались приятели в моторе, перемазались, приуныли. Гришке ночевать в машине, а сыну добираться домой пешком, на попутных.

— Как ты теперь?

— Найду загвоздку — повезет, — уверил Гришка. — Хлеба только не взял. Спать придется натощак. Может, занесет сюда какую-нибудь машину.

Пошли уже вторые сутки, а Гришка не появлялся. Сын отправился на поиски, прихватив хлеба, луку, соли.

Машина стояла на прежнем месте. Привалившись к колесу, спал обессиленный Гришка, грязный, голодный.

— Вставай! Я думал, что под колесо негра положили!

— Герка, ты с кем?

— Один, тебя выручать пришел. Ломай буханку, вот лук, соль. Поешь да в колочке напейся. Не заводится?

— Нет. Все обшарил — не идет. Сегодня с горя подкачал колеса. Старая таратайка, а бросить нельзя. Ты никому не говорил, чтоб сюда приехали?

— Нет. Зато выспросил у шоферов, отчего мотор не заводится. Питание продувал?

— Продувал и бензину нахлебался.

— Зажигание?

— Смотрел.

— Аккумулятор?

— Ток есть, а в цепь не идет.

— Проводку надо смотреть.

— Каждый проводок чуть не облизал, а искры нет. Старая машина.

— Это лучше: везде полазить можно, скорей все узнаешь.

И снова проверено все, от искры до колеса. Наконец мотор захлопал, затроил, звонко стрельнул с черным дымом. Поехали! Нет же большей радости на свете, чем истина, добытая своими руками!

Сын у нас подавался вверх туго. Будет в деда Михаила. Тот плотный, жилистый, как березовый пенек у дороги, от которого отскакивает тележное колесо. Ходит сын в седьмой класс, а все еще, как верткий колобок на ножках. Для семьи такие дети выгодны: обувь занашивают до дыр, из рубахи не скоро вырастают.

Летом послали его к дедушке. Когда пришел срок ехать домой, тетя Маня сказала:

— Увези-ка, милый сын, отцу с матерью на гостинцы мешочек мучки. До Косихи Доедешь с молоканом, а там ходят машины — любой довезет. Ты уже большенький, не затеряешься.

Вышел он на машинную дорогу, поднимает руку, а машины пролетают мимо, обдают пылью. Какая корысть шоферу брать мальчишку?

Солнце на вечер, дом далеко, надеяться не на кого. Мешок с плеча на плечо. Терпнут руки, гнется спина.

…Бывает в жизни так, когда маленький человек остается с трудностью один на один. В эти минуты — как знать — вдруг возникает в характере черточка, еще не осознанная, но уже помогает, как подставленная подпорка.

Редко проходят машины, уже стынет воздух и дорога, на небе прочикнулись первые зерна звезд. Сын злится, что не хватает сил, завидует сильным. Сейчас бы сапоги-скороходы, шагнул бы пять раз через грядки берез по буграм — и дома.

Последние километры ночью прихвачены, слезой отмечены. Трудно уже поднимать на плечо мешок, но тащить волоком можно! Хоть на метр, но ближе к дому.

Осветила яркая фара машины мальчишку, тянущего мешок, подобрал парня сердобольный шофер. Герман заявился среди ночи нежданно, замученный, от усталости повзрослевший.

Не придумано специальных упражнений для воспитания воли и закалки характера. А есть ли в них нужда? Упражнениями не выработаешь сознания, а сознание всегда найдет себе нужные упражнения. Ни к чему воспитывать волю вообще, на всякий случай. Все это будет подобно топору без топорища. Мечта, цель, само дело — надежный черенок, на который можно насадить острое орудие воли.

Поздний зимний вечер. Возвращаюсь из школы. Окна нашей хаты заметены снегом, из-за мягких сугробов они похожи на

припухшие глаза.

Сын сидит за столом над тетрадкой.

— Пора спать, — говорю я. — Завтра пойдешь в школу раньше: снегу много намело. Режим нарушаешь.

— Он уже ложился, а потом опять соскочил, — сказала жена.

— Режим, режим, а задачка не выходит!

Присаживаюсь к столу, разбираемся двое, но задачка не поддается.

— Все способы пробовал, а ответ не сходится.

— Ложись. Завтра спросишь ребят, покажут, где запутался.

— Завтра меня будут спрашивать.

— Почему?

— Эта неделя моя.

— Не пойму.

— Мы так делаем. Неделю чтоб у одного все задачи были решены, а другую — у другого. Помогаем до уроков.

Как ни жалко самолюбия сына, заставляю его ложиться. Я уже стал забываться в дремоте. В затихшую хату с метельной улицы зашли сны, зажгли свет, зашуршали бумагой. Гляжу, за столом Герман.

— Ты что?

— Решил! Думал, думал — и вышло.

В конце учебного года проводятся фестивали школьников. Кипят отборочные соревнования, взлетают и падают духом молодые спортсмены: в команду для соревнования выбирают только лучших из лучших. Сыну захотелось попасть в волейбольную команду. При малом росте Герману приходилось высоко прыгать перед сеткой, хотелось доказать, что важен не рост, а усердие, сноровка. И заявился наш волейболист с синей шишкой во весь лоб.

— Что же это такое?! — горюет жена. — Один сын и того, однако, не убережешь. Накажи ты ему, чтоб потише был, не в каждый столб лбом стукал. Расколет он себе голову до фестиваля!

— Что же ему наказать?

— Пусть осторожно играет.

— Трудно такое советовать: в осторожной игре нет остроты впечатления.

— Тогда дождешься, что он явится без головы! Что за натура, как на кипятке заведен.

Вхожу в комнату. Сын пластом лежит на койке. Голова забинтована, выжидающие, настороженные глаза, вытянутые руки. Пропали у меня заготовленные поучения, осталась жалость, участие да тревога: минуй нас несчастье, обойди горе стороной!

— Как же это?

— Хотел взять трудный мяч… Наша команда поедет. Меня берут.

Выйдут сроки — теплый ветер мочки леса растревожит, придет время, юность сможет на плечо мечту положить. Еще год, и Герман закончит среднюю школу.

Весенним вечером сидим всей семьей на крыльце. Цветет сад. Выпадают же у нас на Алтае благодатные вечера! Нет конца и края тишине, до потемок идет от земли тепло, дрожит столб мошек в воздухе. В эти минуты думаешь: вот оно, то прекрасное мгновение, которое хочется остановить… Думается и не думается, говорится и легко молчится. Сад, небо, крыльцо — как это просто и дорого!

Сегодня у нас семейный совет на крыльце. Поговорим, перервемся, послушаем, как майский жук тянет густую октаву над белым садом, и опять за то же.

Раньше мы ради любопытства спрашивали сына, кем он хочет быть. На эту тему он писал в школе сочинения. В таких сочинениях выплывали мечты школьников. Учителя читали, улыбались, строго по нормам оценивали и забывали, хорошо, если до следующего года. Будущие ученые, врачи, летчики и моряки, раскрыв учителю свои мечты, получали в журнал оценки и тут же успокаивались: долго еще до того, про что думали. Не сразу забывали такое сочинение особенно ретивые мечтатели, но слабые в грамматике. В конце сочинения-мечты появлялась на редкость скверная цифра, потом перебиралась в журнал и торчала там всю четверть, как идолище поганое, отчего задрябла итоговая оценка, стала похожа на высушенного червячка. Все это было похоже на забаву, игру в будущее для детей, дань моде среди учителей. Потому-то скоро забывались маленькие мечтатели. Отмечтав свое, какой-нибудь Лешка-моряк оказывался на тракторе. Мы удивлялись и немножко иронизировали:

— Ты же хотел…

— Хотел, да не поспел. До мечты еще не дошли руки. Тогда мы жидко мечтали, туманно. Хотели поубавить с неба звезд, но не знали, как взяться. Когда у рук что побывает, — голова лучше мечтает.

Пришло время, когда разговор о наклонностях сына надо начинать серьезно. Надо помочь, чтоб не вышло ошибки, чтоб выбранное влекло всю жизнь.

Герман сидит, привалившись к двери спиной, в разговор не встревает. Голову он больше не разбивал, но руку успел нарушить. Она подвешена в гипсе на тесемке через шею, отчего сын кажется перечеркнутым.

— Хоть так суди, хоть этак ряди, — говорит жена. — Из средней школы человек выходит грамотным, а на какое дело его пошлешь? Доучиваться надо, специальность нужна.

— А вот какая? По музыке не пошел, к рисованию не пристал, стихов писать не собирается, учителем не хочет. Значит, в технический институт надо.

— Там конкурс большой, — замечает Герман.

— Кончай школу с золотой медалью.

— Хватит и серебряной, — вмешивается жена.

— Чтоб было вернее, держи на золотую! Сил тебе не занимать.

Тут мы немного опять помолчали, да и причина к тому была: вечер принялся рядить небо в яркую мозаику из облаков. Живая работа природы завораживала глаз щедростью красок, движением их. Но меркнет. Утомленный вечер-художник повесил над садом большое облако-палитру. Смотрим на него.

— Что же скажешь нам, сын? — спрашивает Шура.

— В летную школу надумал.

— Куда?!

— В летчики, — смущается сын.

— С такой рукой не возьмут.

— Заживет.

— Ну, нет, — говорю я. — Крылья связаны. Дорогу в небо ты сам себе закрыл, туда уже ходу нет.

— Да это он к слову сказал, а ты уж подхватил, — сказала хозяйка.

— Разве только к слову…

А Герман уходил на реку, в береговой заросли разминал больную руку, подпарывая ножичком гипсовую повязку. Было больно до искорок в глазах.

Окончена школа. Сын принес аттестат без медали. Не всем удается заработать, у нашего тоже не вышло. Но жизнь у него впереди!

Смущало нас новое желание сына. Казалось, что это очередное увлечение пройдет, как грипп. Пытались отговорить, но куда там! Проездом заглянул к нам знакомый, Хомяков Павел Иванович. Он служил в летных частях, и я, воспользовавшись случаем, просил его рассказать Герману, что труд летчиков сложен не только из красивых виражей, которые интересно наблюдать с земли, что у них есть простые трудовые будни.

— Павел Иванович, расскажите сыну о профессии летчика без прикрас, чтоб знал он, что его ждет. Такой разговор сейчас очень важен: он или остановит горячую голову, или к делу поведет.

Беседа состоялась. Сын смотрел на Павла Ивановича

восторженными глазами. На нем все было с иголочки да с позолотой. Перед таким разве устоишь!

И уехал сын в летное училище. Позднее писал, что успехи у него хорошие, бывают и отличные. Мы успокоились: нашел наш парень дело по сердцу!

Подросла дочь. Ее тоже дожидала скрипка, но серьезного влечения к музыке не обнаружилось. Это уже настоящее наказание! Из двух — ни один! И излилась у меня однажды досада на моих бесталанных детей.

Как-то разбирал я на вышке свой архив, и попади мне под руку гавоты, менуэты, Сарасате с «Басксим каприччио». Подошла какая-то горькая минута, и меня прорвало. Показалось, что вся эта музыка, годами собираемая, подвернулась мне теперь, как издевательство над несбывшимся.

— Зачем ты здесь, Гендель, со своими пассакалиями да сарабандами? Сто лет пролежишь, промолчишь под вой сибирского бурана. И Паганини совсем не ко двору. Некому прозвенеть твоими колокольчиками!

Даю волю чувствам — и рук не удержишь. Притаилась скрипка, сколько лет лежала сиротинкой. Выхваченная из футляра, маленькая, беспомощная, — разлетелась в щепки от удара по стропилине. Некому служить — не для чего и быть! Сарабанды с гавотами в тот же раз полетели в печку. Порасти быльем все, что молодость тешило, собиралось впрок!

Прошло три года. Далеко сын. Редкие письма приносят скупые вести: «У меня все хорошо. Уже летаю. Видел с высоты, как степи ломятся от урожая. Здорово, мощно наступают на целину! Сверху такое просто захватывает». Мы с матерью довольны такими вестями и понимаем, что так радоваться общему успеху может тот, кто вкусил от своего трудового успеха.

А это отчего? «Дела подвигаются. Спроси, папа, у командования части, будет ли из меня летчик».

— Мать, у сына что-то неладно.

— Да что ты?! Даже сердце упало.

— Уверенность теряет. Опасно.

— Как же помочь?

— Заставить поверить в себя.

— Как?

— У нас, кроме слова, ничего нет.

Свернулось наше письмецо пополам, улеглось в конверт. Дойди, расскажи сыну, что только один человек знает точно — это он сам. Мы же верим — будет летчик!

Восемь лет назад проводили сына с этого крыльца за мечтой. На нем же теперь коротаем самую длинную в нашей жизни

августовскую ночь. Как все-таки долго спит деревня! До чего медленно поворачивается Земля к солнцу… Молчит приемник. Оттого трудно оставаться в квартире, и, пока нет людей, легче быть на крыльце, под звездами.

— Давно ли топтался на этом месте, а теперь куда поднялся, — повторяет жена. — Только бы хватило сил сделать хорошо…

— Только бы хватило, — твержу я.

Утром, после коров, зашел старик Жильников.

— Я спозаранку прибежал. Скоро опять нахлынет народ, не поговоришь толком. Старуха у меня прихварнула, так велит бегать узнавать. Еще летает? Пошто так долго? Ждать пристали! Как там ему: срок какой определен или сам себя берет на испыток? Неизвестно? Вот это уж до того худо, когда неизвестно! Тут родительскому сердцу вдвое надсадно.

Андрей Федорович разводит руками.

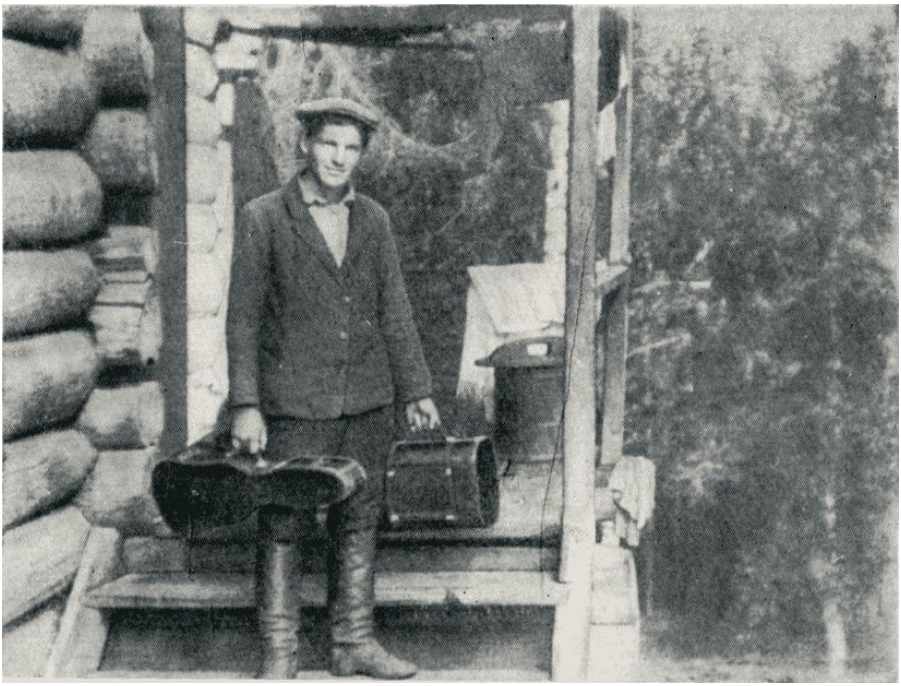
— Парнишка — ото всех не выделишь. По этой улице бегал, про судьбу-талан никому не сказывал, а куда угодил! Поднялся над миром свой — деревенский, понес славу народную… Оттого дело это сердечное.

Только к вечеру седьмого августа перед затихшим народом голос диктора оповестил по радио о завершении полета.

Сын на земле!..

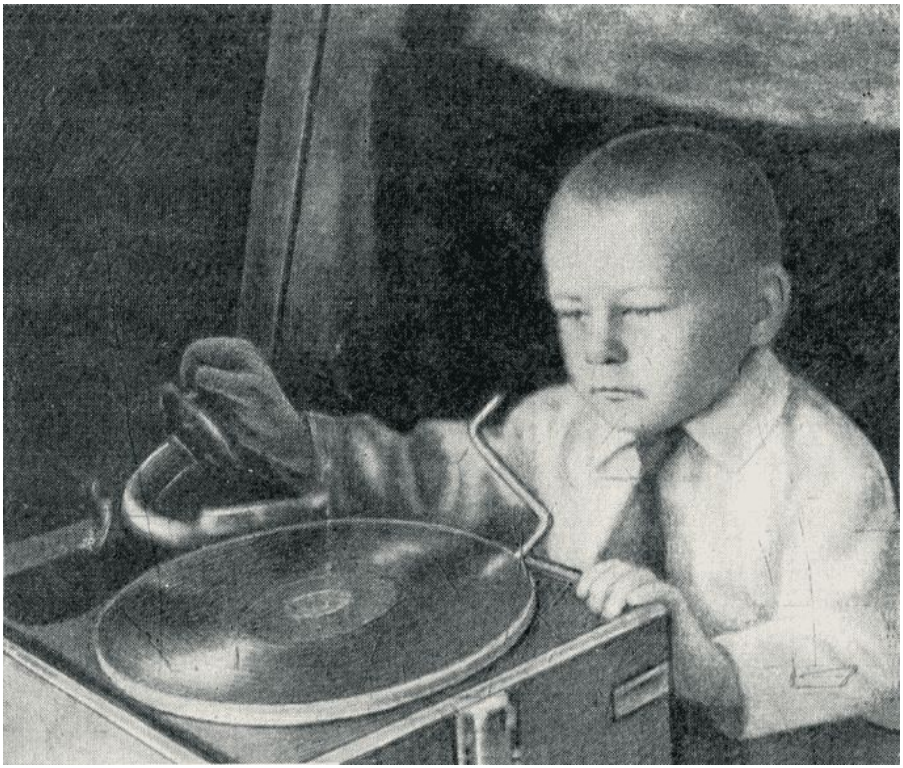
Иллюстрации

С. П. Титов — студент.



Из коммуны на Музрабфак. 1930 год.

Постройка дома.



Герман слушает музыку.

Веселое купание.

РСФСР
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Настоящий аттестат выдан Титову Герману Степановичу, родившемуся вс. Косиха Косихинского р-на Алтайского края 1935 года, в том, что он, поступив в 1950 году в Налобихинскую среднюю школу № Косихинского р-на Алтайского края, окончил полный курс этой школы и обнаружил при отличном поведении следующие знания по предметам:

Русский язык	5 (пять)	Всеобщая история	4 (четыре)
Литература	5 (пять)	Конституция СССР	5 (пять)
Алгебра	5 (пять)	География	4 (четыре)
Геометрия	5 (пять)	Физика	5 (пять)
Тригонометрия	5 (пять)	Астрономия	4 (четыре)
Естествознание	4 (четыре)	Химия	5 (пять)
История СССР	4 (четыре)	Иностранный язык	5 (пять)

Настоящий аттестат дает его владельцу право поступления в высшие учебные заведения Союза ССР.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Директор школы

Выдан 21 июня 1953 г.

с. Налобиха Косихинского р-на Алтайского края

Заместитель директора по учебной части

Учителя:

НАЛОБИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

№ 902792

Москва. Гознак. 1947.

Герман с сестрой дома во время отпуска. 1954 год.

После тренировочных полетов.

Семья у радиоприемника слушает сообщение о полете.

На Красной площади в Москве.

Радостная встреча после полета.

notes

Примечания

1

Уставиться с любопытством на что-либо.

2

Не сорвись.

3

Упадешь, изувечишься.

4

Добродушные сибирские ругательства у стариков.

5

Деревянный бочонок под воду, что берут в поле.

6

Обед.

7

Недавно.

8

Осесть, уплотниться.

9

Домотканая грубая верхняя одежда, род плаща.

10

Чулки из грубой домотканины.

11

Истошно кричать.

12

Отходы при домашней обработке льна.

13

Брюки из грубой домотканины.

14

Болото с кочками и кустарником.

15

Обломки цветного стекла, фарфора, которыми играли дети.

16

В крещение на реке вырубался большой крест для освящения воды.

17

Толстая палка для увязывания воза с сеном.

18

Веревочная петля, укрепляемая в передке саней.

19

Пытаться, пробовать.

20

Шалун, забияка, озорник.

21

Изделие домашней кухни из солода.

22

Род пастилы.

23

Устройство из прочных нитей в кустарном ткацком станке для переплетения основы.

24

Деревянная подвижная крестовина на подставке.

25

Деревянный цилиндр для намотки пряжи.

26

Крестная мать.

27

Спички. Название пошло от самодельных спичек, какие делали из лучинок и горючей серы.

28

Полоскать белье на скорую руку.

29

Большой жестяной совок для зерна.

30

Луковичное растение, которым охотно лакомятся дети.

31

Передник.

32

Шерстяная нитка, на которую делали «наговор».

33

Как настоящий.

34

Заболоченная низина.

35

Вышка в доме.

36

Тонкие длинные лесины (стволы деревьев).

37

Толстое бревно, что ложится вверху сруба для настила потолков.

38

Остановились в росте.

39

Северные склоны возвышенностей.

40

Крупные, стекающие капли пота.

41

Поговорка-обращение у стариков.

42

Кусок рельса.

43

Возвышенное место, холм.

Готовая к мётке высохшая трава.

45

Бредишь.

46

Шиворот-навыворот.

47

Легкие тонкие облака.

Настоящего.

49

Г. Титов. Семнадцать космических зорь. М., Агентство печати «Новости», 1962, стр. 9.

50

Ломтик.